

СЛОВО

НЕ



БОРОБЕИ

Дорогие читатели!

В нашем сборнике «Слово не воробей» – произведения юных авторов, чья цель – пустить слово в высокий и дальний полёт. Никаких ограничений (кроме объема: нам не позволяют стать «толстяками»). Никакой цензуры. Только самые чистые эмоции и честное мнение.

Уже сейчас авторы благодарят вас за прочтение и надеются, что произведения вас не только увлекут, но и вдохновят написать что-то своё, искреннее и свободное, как птица.

Хотя всем известно: слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.



СОДЕРЖАНИЕ

СЯДЕМ, ПОГОВОРИМ

Регина Мубаракшина. Диплом	1
Екатерина Михайлова. Стекляшка у парка	6
Арина Жигadlo. Объектив	9
Юлия Лаврова. В поиске	12
Ника Зимина. Точно	15
Георгий Жданов. Утро	19
Злата Бережная. Ромашки	21

МОЛОДОСТЬ ДЛИТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ МГНОВЕНИЕ

Николай Демчук. Крест	27
Варвара Рыбина. Герой	32
Дарья Кулешова. Берега	34

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ТЕКСТОМ

Мария Головачёва. Язык дыхания	38
Софья Шобонова. Чужое пламя, чужое прощение	40
Елизавета Диденко. Обещать - не значит жениться	43

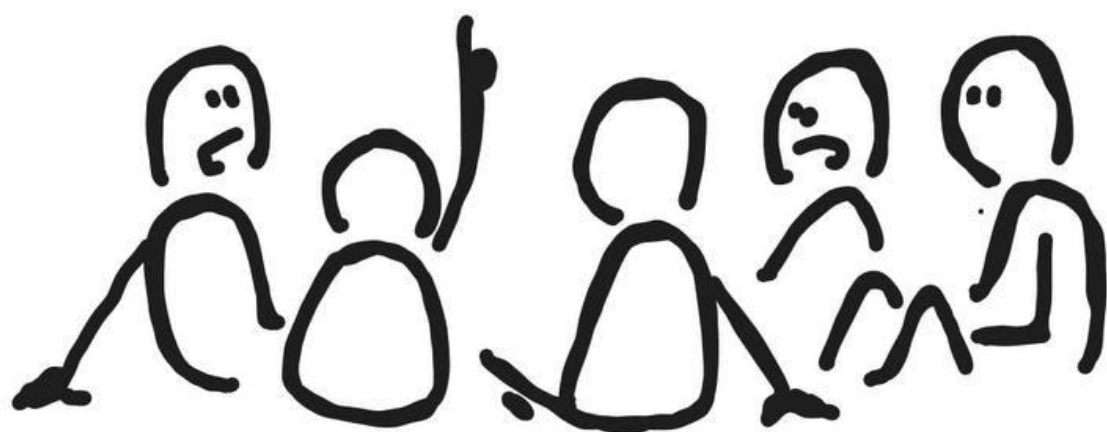
Я ПОКАЖУ ВАС КНИГАМ

Елизавета Жерельева. Дневник обратного отсчёта	47
Елизавета Головина. Сапожки, которые смеются	49
Полина Карпова. Проводник	51
Злата Шипунова. Какого дьявола затемняться, когда весь город горит...	53
Анастасия Непряхина. Цена одного дня: о рассказе Рэя Брэдбери	55
Арина Павлова. Годы неправды	57
Мария Мартынова. Больше, чем история болезни	59

ДВА СЛОВА – И ГОТОВО

Вероника Авилкина. Маска	63
Екатерина Кирсанова. Комментарий к девизу	64

СЯДАЕМ,
ПОГОВОРИМ



Регина Мубаракшина, 16, Солнечногорск

*«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»
(А. Пушкин «Элегия»)*



Диплом

*Одно лишь слово «поздравляю».
Коста Хетагуров*

Спускаясь по широкому школьному крыльцу, я заметила Варю – она была единственной, кому идеально подходила алая-пре алая помада, и никто не сомневался, что диплом, такой же алый, ей подойдет ничуть не хуже.

– Лида, Лидочка! Ты как? Сколько баллов?

– Все хорошо, Варюш, семьдесят два, – затараторила я шепотом, как будто была шпионом, который произносил сверхсекретный пароль.

– А ты переживала! – радостно воскликнула Варя, обнимая меня.

– У тебя-то как?

– Восемьдесят три. В прошлом году призёр с шестидесяти одного начинался, Никита сказал, что сильно проходной не поднимут. Может, даже на победителя хватит, если мне апелляцию на пять баллов одобрят, – она на секунду замолчала, а потом звонко рассмеялась. – Как же мы хороши! Нет, мы не хороши, мы идеальны.

На дворе стояло семнадцатое апреля, на горизонте, в синеватой дымке, виднелись горы Осетии, и все было так хорошо, что даже не верилось. Утром звонила мама, расспрашивала о нашей жизни, уточняла, уверены ли мы с Варей в дипломе. Да можно ли быть уверенными, если и формат заданий изменился, и состав жюри, и критерии оценивания? Да можно ли быть уверенной, когда пишешь олимпиаду по литературе? Это же не математика, где есть точный ответ! А вдруг жюри не оценят излишний креатив? А вдруг, наоборот, недостаточно оригинально напишешь? И вроде бы я сделала все возможное: полгода училась по четырнадцать часов в сутки, отлично писала все пробники, забыла о друзьях, ведь «диплом требует жертв!» Пришла на реальный тур, прочитала задания, потом перечитала еще несколько раз и уставилась в окно – там, скрипя на всю улицу, плёлся старенький жёлтый троллейбус. И вот тогда я начала волноваться, что диплома мне не видать.

Да и Никите, одному из наших тренеров, я не особо доверяла. Варёного восхищения баллами я разделить, увы, не могла, но и резко отрицать, что мы идеальны, не хотела. Уж лучше верить в хорошее, вдруг вопреки зудящей тревоге оно все-таки сбудется. В Вареном дипломе я не сомневалась, а вот в своём – только так. Варюше диплом подходит, как подходит алая помада, а мне?

Мама говорит, что важна не «корочка», а ощущение, которое она проносит. Возможно, она права. Но если я не получу диплом, то труд трёх лет пропадёт зазря. Неужели все заново, неужели снова возвращаться в рабочий посёлок, от одного названия которого хочется укрыться с головой в уютном клетчатом пледе и не вылезать из него. Неужели заново учиться ночами, не вспоминая о сне или хотя бы о жалком подобии режима? Нет, не получить диплом мне никак нельзя. Как я потом буду смотреть в глаза маме, бабушке? А учителям, которые три года подряд отвечали на все мои вопросы и ни разу не отказали в помощи? А соседям по дому, в конце концов? Неужели же я буду так зависеть от людей, что не весь отдамся чуду мысли пламенной моей? – написал когда-то Бальмонт. Сказано красиво, но возможно ли это? И что делать, если чудо пламенной мысли подчинено реальности, а в реальности невозможно не зависеть от людей?

Вечером в комнату заглянула Аня, принесла осетинский пирог с сыром, контейнер клубники, заварила зелёный чай и долго-долго обнимала меня, сидя на моей кровати. Варя уехала на апелляцию сразу после обеда, и я весь день провела наедине с навязчивыми мыслями. Аня же умела создать уют в одно мгновение, все у неё получалось легко и с улыбкой. Все, кроме текстов. И как она ни пыталась «глаголом жечь сердца людей», почему-то выходило всегда затянуто, и даже самый терпеливый читатель страницы на третьей засыпал.

В час и двенадцать минут ночи вернулась Варя. Со скрежетом повернула ключ, медленно отодвинула тяжелую серую штору, поставила сумку на стул и заплакала, закрыв лицо руками.

– Мне сняли шестнадцать баллов! – сказала и села на пол, прислонив голову к стене. Её алая помада стерлась, а коса растрепалась. – Это конец, это конец, финальная точка, развязка, – шептала она.

– Варюш, пирог будешь? Он с сыром, – Аня подсела к ней, протягивая на тарелке оставшийся кусочек.

– Только если с сыром, мой любимый, – Варя взяла его, потом уставилась в стену и снова зарыдала, – все из-за этого мерзкого, гадкого Стрижова! Кто его просил вообще аналитический тур комментировать?! Я ведь апелляцию только на творческий подавала.

Я встала с кровати, заварила Варе лавандовый чай. Как бы мне ни хотелось поддержать подругу словами, но пусть уж переживёт все сама и в какой-то момент устанет гонять одни и те же мысли по кругу до бесконечности. Я давно поняла – чем больше её успокаиваешь, тем сильнее она нервничает, накручивая себя. А после одиннадцати часов коридорных ожиданий лишние нервы Варе точно ни к чему, хватит и апелляции со Стриженовым.

Как вчера и подсказывала мне навязчивая интуиция, утро перед награждением на что-то нам намекало, с самого начала складываясь не по плану. Сначала отъезд из гостиницы перенесли на полчаса раньше, потом в гостинице отключили горячую воду, кофе заваривался невыносимо долго, но так и остался водянистым, а пока мы ждали автобус, резко пошёл ливень из светлого, полупрозрачного облачка.

– Мне страшно. Я не знаю почему, но страшно. Вот сейчас как поднимут проходной балл, так и останусь без диплома, – прочитала блондиночка Глаша, расхаживая туда-сюда и размахивая руками, – я вчера гадала, карты не врут.

– И что выпало? – Сева дёргал капюшон куртки в разные стороны.

– Тсссс. Нельзя гадать на диплом, – испуганно прошептала Аня. – Плохая это примета, нельзя гадать ни на смерть, ни на диплом. Такие расклады никогда добром не кончаются.

– Глаш, у тебя шестьдесят восемь. Никита же сказал, что это хорошие баллы, – убеждала Варя то ли её, то ли себя, раскрывая зонт. – Значит, будет диплом.

– Тебе хорошо говорить, – Сева продолжал бороться с несчастным капюшоном, – у тебя-то высокие баллы даже после апелляции. А мы обычные, смертные. У меня, например, сорок три.

– Мне вчера на апелляции аж шестнадцать баллов сняли. Шестнадцать, ты понимаешь? – после бессонной ночи сил кричать у Вари не было, и она, бледная, почти прозрачная, как стеклянная гостиничная кружка, куталась в широкое черное пальто. – Я ещё, дура, на победителя рассчитывала, хоть бы порог призерства перейти.

А я смотрела вверх, на облачко, и почему-то была уверена, что Никита ошибается и проходной поднимут. Расположившись в автобусе у окна, крутила в руках серьги – серебро с бирюзой, их носила ещё мама, а потом передала мне, сказав, что они приносят удачу. Сегодня она мне точно не помешала бы. Варе, конечно, тоже, и я

надеялась, что всё сложится, но, размышляя рационально, понимала – если бы Стрижов рассчитывал на диплом Вари, он не стал бы доводить её до истерики.

А для меня диплом был не совсем даже наградой, скорее, шансом жить по-другому. Бывшему жителю мегаполиса привыкание к крохотному рабочему посёлку сродни пытки, и я была готова бежать без оглядки куда угодно, лишь бы сбежать из этого бездонного болота. Диплом давал возможность уехать навсегда, забыть о прошлом и начать – какой каламбур! – с чистого листа.

Позвонила мама, спросила, надела ли я серьги, и поздравила с дипломом, которого ещё не было. Публично она всегда сомневалась в успешности олимпиадной карьеры, но я-то знала, что она гордилась и мной, и моими друзьями, верила порой больше нас самих, только старалась это скрывать.

Через пару минут начался кошмар, видимо, мама уже кому-то рассказала о моём дипломе, а потом об этом несомненно великом событии узнали все. Или, может, школа уже выложила поздравление на сайте, не особо заботясь, получила ли я диплом. Телефон гудел, не переставая, на экране контакты едва сменяли друг друга: директриса школы, Алёна Геннадьевна, дядя, преподавательница по фортепиано, соседка с шестого – кажется, её зовут Анастасия Павловна или, может быть, Петровна, Верочка, одноклассник, сохраненный под ником «Грибоскладкагусь» ещё года три назад, бабушка, Николай Ильич, безымянная гардеробщица музыкалки, бывший классный руководитель, имени которого я тоже не помнила, какая-то рекламная компания... Видимо, весь Солнечногорск – нелепое название, в нашем рабочем посёлке нет ни гор, ни солнца, только ржавая вода, – в одну минуту решил мне позвонить. Знала бы, что за диплом придёт такая расплата – сотню раз бы подумала, стоит ли отрицать полёты «мысли пламенной моей».

Директриса школы позвонила во второй раз, приторно-восторженно щебетала, как же она счастлива, что у нас учатся такие восхитительные, великолепные, невероятные ребята. Я была уверена, что она читает с помятого листа заранее написанный текст, иначе бы у неё зубы свело от излишней сладости. И чем больше она нахваливала меня и мои тексты, тем сильнее хотелось выкинуть телефон в окно.

А потом на экране высветилось: «Рододендрончик». Звонила моя двоюродная сестра, Азалия, которую я ласково называла Рододендрон Чиком. Раньше называла. Она была на три года младше, с огромными голубыми глазами, светлыми, чуть выющимися локонами и очаровательной улыбкой – чем не принцесса, чем не куколка?

Когда мы поссорились, мне было одиннадцать, тогда я ещё жила в Казани. Темирбека Ямансарова – бабушка по крови, но совершенно чужой человек духовно – пригласила нас в гости. В большой комнате, где висели гирлянды со слониками и вечно пахло миндальными круассанами, на нижней полке серванта стоял потрёпанный семейный альбом. Показывая его, Темирбека Ямансарова вдруг остановилась на фотографии с какого-то праздника: Азалия на ней была неотличима от диснеевских принцесс, совсем маленькая, года три или, может, четыре, а на кресле рядом с ней лежала трёхцветная кошка Дианка.

– Вот, посмотрите на мою принцессу! – хвалилась Темирбека Ямансарова, неестественно ласково поглаживая фотографию морщинистыми руками.

Я уже понимала, что от нас ждут ответа, и восторженно выпалила, совсем не подумав: «Да, а рядом с ней кошка!» И через секунду осознала роковую на тот момент ошибку. Темирбека Ямансарова резко развернулась, потрянув объёмными чёрными кудрями, посмотрела на меня немигающим взглядом и строго отчеканила: «Так я про кошку и говорю». Я знала, что Дианка – её любимица, но как можно настолько невозмутимо предпочесть кошку родной внучке? С того дня Тимербику Ямансаровну я больше ни разу не видела.

Потом я плакала, рассказывая маме, что Азалия смертельно на меня обиделась, а я даже не поняла почему. Потом думала, что неспроста родители развелись спустя пятьдесят один день после этого случая – я считала. Вернее, перечитывала много-много раз. Потом стояла холодным апрелем, ловила языком снежинки и стирала с щек соленые дорожки, глядя, как грузчики, плохо говорящие по-русски, ставили коробки со всем моим миром, запакованным в сотни пленок, в обшарпанный фургон. Потом ненавидела серый рабочий посёлок, типичный до ужаса уездный город N, где в двух метрах от пляжа с белым песочком стоит забор с колючей проволокой. Потом подрабатывала фотографом, выступала на всех концертах в городе, ночами на удвоенной скорости слушала записи лекций и параллельно вязала шарфы – лишь бы заработать хоть немного, лишь бы уехать! Лишь бы получить диплом. Поступить в лучший вуз страны, жить на премию от губернатора, найти хорошую работу и осознать, что можно не тратить каждую секунду на попытки заработать.

На звонок Азалии я так и не ответила. Потом череда поздравлений началась заново: Вова, мамина школьная подруга, живущая с мужем в Екатеринбурге, парикмахер, бабушкин коллега, Леруся, продавщица из ближайшей «Пятёрочки», штук пять незнакомых номеров подряд, Наталья Борисовна, сосед с девятого, чьего имени я не знала, но при каждой встрече в лифте желала хорошего дня, милая библиотечка и, кажется, кто-то ещё... Хорошо, что Темирбека Ямансарова не набрала. Я бы этого не выдержала.

* * *

Я сжимала сумку двумя руками, в ней лежало самое ценное, что у меня только было – диплом, алый-алый, с серебряной надписью «Призёр». Оплаканный ночами, выстраданный тремя годами – какой ужас – тремя годами непрекращающейся работы, выстоянный в очередях аэропортов, выпрошенный в горном ущелье неподалёку от Владикавказа.

– Всё будет хорошо, всё обязательно будет хорошо, – уже в седьмой раз повторила Варя, вытирая слёзы рукавом и отворачиваясь к окну. Разговаривать с друзьями или с Никитой она не хотела, а её мама не просматривала ни записанные голосовые сообщения после невзятых звонков, ни переписку со вчерашнего вечера.

Там мелькали цветущие алычи, персики, миндали и салатова-салатова, как на детской раскраске, трава. Автобус свернул налево, и теперь перед нами проносились потёртые хрущёвки с несуразными фанерными конструкциями вместо балкона, весёлая детвора на лавочках, ларьки с клубникой и гигантскими арбузами. В Москве или Казани сейчас такие ни за какие деньги не достать, а у нас, во Владикавказе, они на каждом углу.

– Ты извини, пожалуйста, что я не могу за тебя порадоваться. У тебя-то теперь всё хорошо будет, – и после длинной тягучей, как сгущёнка, паузы Варя продолжила, – у меня, возможно, тоже.

Ответить я не успела: позвонила мама. Конечно, сразу же спросила: «У Варюши как дела? Надеюсь, диплом?» Я неразборчиво пробормотала: «Двух баллов не хватило, проходной на призёра был шестьдесят девять». Мама замолчала, потом тихо, еле слышно заплакала и, ещё раз поздравив меня, прекратила звонок.

Директриса набирала уже в третий раз, и сейчас трубку я не взяла. Во всех чатах одновременно и в бесконечном количестве сыпались изображения гирлянд, хлопушек, аплодирующие смайлики, какие-то котик с розами, улыбающиеся огурцы и, не пойми зачем, даже новогодние ёлочки от одноклассников.

Незаметно для меня, увязшей в трясине однотипных «поздравляю!», автобус подъехал к проспекту Мира. Двери только открылись, как подул весенней свежестью и миндалём. Аня первой выскочила из душного автобуса и побежала в книжный на другой стороне улицы, потянув меня за собой. Вслед нам Никита кричал: «Сбор через

сорок минут, не опаздываем! Не опаздываем, сбор через»... Но мы, разумеется, его уже не слушали.

Из книжного Аня вышла с двумя пакетами книг, а я взяла только два томика – Коста Хетагурова и любимого Булгакова, но зато почти эксклюзивный, весь тираж составил чуть больше трехсот книг. Аня настояла, что нам просто необходимо зайти в соседнюю кофейню и отметить мой диплом, а заодно и пополнение книжной коллекции символическим кофе. То ли цветущий миндаль кружил голову, то ли ослепительно яркое солнце, но я неожиданно для себя согласилась.

Долго смотрела на сообщение Азалии, первое за четыре года. «Поздравляю, Лида» – и больше ничего. Я напечатала ответ, но так и не отправила. Перечитала ещё раз, и ещё, покрутила серьги, а потом стёрла ответ. Это, конечно, нетактично, но точно правильно.

– Ваш кофе готов! – бодро произнес официант. На его бейджике было кривоватыми буквами выведено «Алим», но сам он на этого загадочного Алима похож ничуть не был. Высокий, метра под два, в мятой белой рубашке и очках с толстой чёрной оправой – какой же он Алим? Такой же, пожалуй, как Солнечногорск – город.

До мыслей про неподходящее имя официанта – наверняка взял чужую форму, не исправив имя на бейджике – было что-то явно более важное. Ах, да, Владикавказ, диплом, вереница поздравлений, объявление про сбор через сорок минут, от которых осталось всего семнадцать. А ведь ещё нужно забежать в сувенирную лавку: дяде купить большую черную папаху, бабушке – свечу в виде галы, а маме... Маме – горький шоколад с осетинскими травами. Она не любит красный, но к бордовому относится не так категорично. Можно, конечно, взять белый, но он слишком сладкий, мама не оценит. Она и без того расстроилась, что Варя осталась без диплома. И Варюше надо что-нибудь принести, может, пирог с сыром?

Удивительно, но и для меня ещё вчера и даже пару часов назад диплом казался чуть ли не главной жизненной целью, ради которой можно и даже нужно забыть обо всем. Сегодня я так уже не думала. Но я была счастлива, наверное, впервые после переезда. И никуда не торопилась. Наверное, мама была права: сам по себе диплом – всего лишь эффектный аксессуар в книжном шкафу, важно то, какое ощущение он приносит в жизнь.

Кофе был тёплый, со вкусом малины и фисташки, а сквозь окна в пол в кофейню забегали задорные солнечные лучи. Апрель на Кавказе сильно отличался и от московского, и бульварах, Аня, набравшая стопку книг, я с кофе, тишина, нарушаемая лишь щебетанием птичек... И диплом, алый-прелый диплом!



Екатерина Михайлова, 17, Новокузнецк

«Счастье — не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь» (Л. Толстой)

Стекляшка у парка

Каждое утро, выходя из дома по дороге в школу, я проходила мимо круглосуточной стеклянной автобусной остановки около парка. И в один из дней я заметила на ней парня. Он сидел на скамейке, грустный, одинокий, смотрел в одну точку. Я не придавала этому значения и пошла дальше.

Это был вторник, 9-й класс. За окном морозный декабрь, стёкла покрылись ледяными узорами. Наталья Сергеевна зашла в начале урока, тихо сказала: «Ведите себя хорошо» — и ушла в учительскую. У неё что-то с документами, конец четверти, всем всё равно. Класс шумно радовался внезапной свободе. Но вдруг в класс вошёл тот самый парень с остановки.

Его звали Дима. Высокий, худой, с карими глазами. Он казался немного потерянным, создавалось ощущение, что его никто не замечает. Одноклассник молча сел у окна. Позже пришла Наталья Сергеевна и начала ругать ребят:

— Я слышу вас с первого этажа! Нельзя на пять минут оставить... что за класс-то такой?

«Класссуха» — так дети называли свою классную руководительницу. И вот, эта «класссуха», чуть подуспокоившись, сказала: «Ребята, знакомьтесь, это Дмитрий. Он приехал к нам в Екатеринбург из Омска, помогите ему освоиться», — и дверь закрылась.

Три дня он молчал и ни с кем не разговаривал. Дима сидел, смотрел в тетрадь на перемене, выходил в коридор и стоял у окна, совсем один.

Лена с первой парты сказала: «Странный». Илья с задней: «Да нормально, может, стесняется». Я ничего не сказала, потому что мне было всё равно.

На четвёртый день он заговорил.

— У вас есть кто-нибудь, кому можно позвонить в три часа ночи?

Он сказал это громко, все посмотрели на него с непониманием. Наталья Сергеевна в класс ещё не пришла.

Все засмеялись. Илья сказал: «Чё, реально?».

— У меня есть, — сказала Лена. — Мама.

Класс затих. Я сидела на последней парте. У меня был телефон с тридцатью контактами. Мама. Папа. Подруга Соня, с которой мы дружим с первого класса. Чат класса, где мне отвечали за десять секунд.

Но в это время?

— У меня нет, — сказала я.

Все обернулись. Я не знаю, почему сказала. Может, потому что он не на меня смотрел, а в окно, и от этого было легче — как будто я говорила не классу, а просто воздуху.

После того разговора в классе ничего не изменилось. Прошел день, потом второй. Дима снова замолчал, став почти невидимым. Он сидел у окна, худенький, сутулый, в своей неизменной серой кофте, и на него по-прежнему никто не обращал внимания. Будто того странного вопроса и не было.

Но я не могла его забыть. Этот дурацкий вопрос — «У тебя есть кто-нибудь, кому можно позвонить в три часа ночи?» — буквально застрял у меня в голове. Я думала о нём на уроках и по дороге домой. Зачем он это спросил? Что у него стряслось? В конце концов я не выдержала. На большой перемене, когда все ушли в столовую, а Дима остался один у окна, я подошла к нему.



– Дим, – тихо позвала я. Он вздрогнул и обернулся. – Слушай... Я всё думаю про тот твой вопрос. Почему ты это спросил? Что вообще случилось?

Дима долго молчал. Он смотрел на свои руки, перебирая пальцами край тетради. Мне показалось, он сейчас развернётся и уйдёт. Но, видимо, в его сердце что-то дрогнуло. Ему тоже нужно было выговориться.

– Понимаешь, – он говорил, глядя в окно, – можно знать человека десять лет и не знать, позвонишь ли ты ему, когда будет плохо. Не потому, что он плохой. А потому, что вы не договорились.

– О чём?

– О том, что можно позвонить в три часа ночи и ничего не объяснять. Просто сказать: «Мне плохо», – и он не спросит «почему», а просто будет на линии.

Я подумала про Соню. Про маму. Про чат класса. И поняла, что у меня нет такого человека. Я никогда не говорила вслух: «Если мне будет плохо, я позвоню, и ты – ответишь».

– У меня был лучший друг в Омске, – негромко начал он, и его голос едва заметно задрожал. – С первого класса вместе. Братья, понимаешь? Год назад у него начались жуткие проблемы в семье, депрессия. И мы договорились: если станет совсем плохо – звони в любое время, я вытащу. И вот, пару месяцев назад... в субботу. Я засиделся за компом, лег поздно и уснул как убитый. Телефон стоял на беззвучном. А в три часа ночи он набрал меня. Четыре раза звонил. А я... я просто спал.

Дима сглотнул...

– Под утро его нашли на козырьке подъезда. Скорая успела, он выжил, но... остался инвалидом. Месяц в коме. Когда он очнулся, он отказался со мной общаться. Вообще... Если бы я просто взял трубку, если бы не спал... Всё было бы по-другому. Я чувствую себя виноватым каждый день. Из-за этого мы сюда и переехали – родители хотели, чтобы я всё забыл. А я не могу.

Он замолчал, снова уставившись в окно. Я стояла рядом и не знала, что сказать.

После этого признания мы снова долго не общались. Наверное, ему было неловко, что он открылся, а я просто не знала, как себя вести.

Я молчала. Соня сидела через два ряда и слушала музыку в наушниках. Я знала, что Соня ответит, если я позвоню днём. Но я не знала, ответит ли она ночью.

Примерно через два месяца, когда вовсю потёк мартовский снег, Дима вдруг сам подошёл и пригласил меня погулять. Мы ходили по сырым улицам, пили дешёвый кофе из автомата и говорили обо всём на свете. Оказалось, с ним удивительно легко. В конце апреля всё рухнуло.



Дома случился такой скандал... Напряжение копилось неделями, и в этот вечер нарыв прорвался. Отец пришел пьяным, от него пахло алкоголем. Он с порога начал цепляться к маме из-за каких-то денег, швырнул на кухне стул, а затем со стола с оглушительным звоном упала стеклянная банка с крупой. Порубленные осколки разлетелись по полу. Мама заплакала, закричала в ответ, завязалась потасовка. Я попыталась их разнять, безрассудно встала прямо между ними, но отец резко оттолкнул меня, выкрикнув в лицо, что я обуза и вообще ни на что не годна. Мама в истерике кричала ему: «Не трогай её!», а он орал, что выставит нас обоих за дверь. В квартире стоял страшный грохот, летели вещи. Мне было страшно за себя и за маму, которую я никогда не видела настолько беспомощной и напуганной.

Воздух в четырёх стенах просто закончился. Не помня себя от ужаса, я сорвала с вешалки первую попавшуюся куртку, кое-как натянула кроссовки на босу ногу и выскочила в тёмный подъезд, рыдая навзрыд.

Я бежала по улице в полном беспамятстве. Глаза наполнялись слезами, куртка была распахнута, а в лицо бил ледяной ночной ветер. Меня всю колотило от страха, паники и абсолютного бессилия перед тем, что осталось там, дома. Наконец, я из последних сил забежала в круглосуточную стекляшку автобусной остановки, чтобы просто спрятаться от этого пронизывающего холода и перевести дыхание. Достала телефон дрожащими, онемевшими пальцами.

Первой мыслью было набрать Соню. Но сознание сразу услужливо напомнило: у Сони строгий отец, который отбирает у неё телефон ровно в одиннадцать вечера, и если я сейчас позвоню, будет только хуже. В чат класса писать – бред. Экран тускло осветил пальцы. Я замерла, глядя на верхнюю строчку.

Ровно три часа ночи. В голове зазвучали Димины слова.

Пальцы сами нашли его контакт. Мы никогда не созванивались, только списывались в чате по учебе. Я нажала на вызов.

Трубка пошла гудками. Длинными, глухими, бьющими по ушам в пустой остановке. Первый гудок... Второй... В этот момент меня накрыла дикая паника. Зачем я вообще ему звоню? Кто я ему такая? Сейчас он спит, я его разбужу, он разозлится и посчитает меня сумасшедшей. Я уже занесла палец над экраном, чтобы сбросить вызов, как вдруг гудки прекратились.

Экран показал, что пошёл отсчёт секунд. Дима ответил.

Но в трубке стояла тишина. Он молчал. Я тоже молчала и шумно прерывисто дышала, глотая слёзы.

– Ты где? – раздался в трубке тихий и хриплый голос Димы.

– На остановке у парка, – прошептала я, и новые слёзы хлынули из глаз, но теперь это были слёзы облегчения. – Мне страшно, Дим.

– Жди. Я сейчас приду. Не клади трубку, просто побудь на линии.

Я слышала, как на том конце провода шуршит его куртка, как звякают ключи. Он просто дышал в микрофон. Через десять минут его высокая фигура показалась в конце аллеи. Он бежал ко мне, распахнутый, без шапки. Забежал на остановку и остановился напротив. Дима улыбнулся – впервые так открыто и тепло, пряча мои ледяные ладони в свои карманы.

Арина Жигadlo, 17, Пенза

«Слова, по-моему, отнюдь не скромному мнению, — наш самый неиссякаемый источник магии, способный одновременно причинить боль и вылечить её» (Дж. Роулинг «Гарри Поттер»)

Объектив

Саундтрек «Главный герой»
Sova

Звонок эхом ещё ударялся о стены школьных коридоров в то время, как Кира с расстегнутой сумкой через одну ступеньку неслась вниз с последнего урока, химии. В раздевалке столпилась добрая половина параллели. Девочка схватила пальто и будто ошпаренная выбежала оттуда. Накинув его уже на улице, вставила запутанные проводные наушники и двинулась в сторону метро.

После семи уроков голова гудит только так. Фары едущих навстречу машин сильнее провоцируют пульсацию в висках. Куда им всем резко понадобилось? Скорее бы очутиться дома, погасить свет и забыться за любимым сериалом.

Музыка играет достаточно громко, но едва перекрывает гул толпы в час пик. Кира зажимает кнопку звука, почти летом сбегая по эскалатору. Если бы сейчас она очутилась на месте главной героини, город шумел бы где-то на втором плане. Однако женщина, истошно орущая в трубку, выругивается, когда та задевает ее рюкзак. Наверняка, проблемы с начальством или неурядицы дома. Обязательно срывать злость на каждом мимо проходящем.

А вон тот парень, кажется, сильно волнуется. Он неловко обнимает букет, закрывая его телом от прохожих. Предстоит знакомство с родителями, или в чем-то провинился перед любимой? Жаль, в сценарии это не прописано.

Перед платформой не протолкнуться. На станциях человеческое желе вываливается из дверей, а следом затягивает новых попутчиков. Кира вдыхает поглубже и шагает в самую гущу. Пристроиться удастся только у входа. Завидев единственное свободное место, она с облегчением падает на сиденье. Практически в упор на нее направлен грозный взгляд мамочки со спящим малышом на руках. Пока Кира уступает ей место, в голове мелькают странные мысли. Скорее всего, несчастную девушку бросил муж, ей пришлось досрочно выйти из декрета, совмещая работу с ребенком, чтобы ежемесячно выплачивать аренду за квартиру. Декорации меняются, суть остается прежней. Кому-то меньше повезло с ролью, но расторгнуть контракт нельзя.

В вагоне пахнет смесью духов и одеколонов. Поручни горячие от множества прикосновений. Мелочь брякнула об пол и тут же затерялась среди реплик диктора. Люди цепляются за реальность: отряхивают брюки, кивают, указывают на развязанные шнурки. В такой обстановке особенно видно тех, кто пытается уйти от толпы, оставаясь на месте, в ожидании своей станции.

Например, этот молодой человек. Он отгородил себя от всех с помощью капюшона и надвинутой кепки. Никто не имеет права вторгаться в его уютный мирок. Но, кажется, он косится в ее сторону. Растерянно смотрит в телефон и снова поднимает глаза. Кира заправляет прядь за ухо. Он непременно выйдет следом на ее остановке, предложит проводить до дома, ссылаясь на то, что друг заболел, и билет в кино на последний ряд пропадет. Парнишка щурится и подходит ближе.



— Вы выходите? Разрешите.

Он шагает к стойке информации, бегло читает карту и протискивается к выходу. Через несколько минут темный капюшон смешивается с пестрой толпой.

Сердце неприятно щемит. Он смотрел на табло за ее спиной. Упустил из вида укладку и сумочку, подобранную в цвет обуви. И куда же ему торопиться? На ненавистную работу или в универ, где последний раз он появлялся неделю назад. Эпизодический персонаж! Ему не повезло, а не ей, которой заготовлен отдельный сюжетный поворот. Но отчего-то к горлу подкатывает ком.

“До дома одна станция, лучше прогуляюсь пешком”.

Ветер перекидывает волосы. Они липнут к блеску для губ и разрозненными сосульками обрамляют лицо. Уставшие люди мчатся с работы, подрезают на пешеходке, огрызаются. Кира не замечает, как оба наушника остаются висеть на вороте пальто. Звуки сведены к минимуму. Спускаются сумерки, первые звезды мигают в лоскутках неба между высотками.

Только однажды она видела небо, не перечеркнутое проводами и антеннами. Этим летом. В лесу, в нескольких километрах от родной деревни отца.

Треск сгорающих поленьев убаюкивает. Кира держится из последних сил, стараясь не уснуть. Папа ушел в машину, сестренка дремлет рядышком, но кое-что не дает ей покоя. Или кое-кто? Деревья шепчутся за спиной, дикие животные притаились в чаще. Ночевка была идеей Кире, и она нисколько не пожалела, что на ней настояла.

— Ты слышишь это? — приоткрыв один глаз и хитро щурясь, спросила Уля.

— Что именно?

— Рой мотыльков жужжит.

Кира ничего не слышала. Она откинулась на спинку складного кресла и взглянула на клуб дыма, поднимающегося выше сосен. От него щипало в уголках глаз.

— Они боятся огня, поэтому не подлетают ближе.

— Они чудищ боятся. Мы для них огромные чудища: жжем домики, ногами давим детей.

— Для кого-то и они чудища.

— Для мамы! Она до смерти пауков боится.

Сестренка продолжала говорить о сверчках, пауках и бабочках. Вертелась, тормошила за рукав потертой джинсовой куртки. Кира ничего не слышала. Часто моргая, она была уверена, что только из-за этого не может поймать ни одной падающей звезды.

Шея затекла, как во время разговора с высоким человеком. Под куполом ночного неба вообще ощущаешь себя необычайно маленьким. Улей с ее глупыми вопросами или мотыльком-трусишкой.

— Ты еще не ложишься?

Папа с пледом и термосом пробирался со стороны машины.

— Нет, а ты что вскочил?

— Думал, костер залить, если вы в палатке. Чем тут занимаетесь?

— Уля только заснула, я вот любуюсь, — взметнув взгляд к звездам, ответила Кира.

Он перевернул железное ведро из-под картошки и уселся рядом.

— Дело хорошее. Мне нравится думать, что в космосе мы не одни.

— В смысле?

— В смысле, кто-то в триллионах километров сейчас точно так же лежит, тычет пальцем в нас и думает, населена ли та точка на небе?

Кира смолкает на несколько секунд и с азартом бросается опровергать эти пустяковые фантазии. В ход идут статьи из дедушкиных научно-популярных

журналов, ролики про нло, теории заговора. Ближе к рассвету спор затихает. Звезд тоже клонит в сон. Зарянки споят им колыбельную.

И вот сейчас, в тишине, когда слова песен не перебивают внутренний голос, Кире вспоминается наивное замечание папы. Взаправду. Наша Земля ведь не центр Вселенной, а лишь крошечная ее часть. Любая планета, как и любая звезда — только один из тысяч фонариков зрителей во время концерта. Со сцены его может быть и не видно, но уже «созвездие» порождает световое пятно. Необязательно находиться внутри. Объем предметам придают тени.

И ветер продолжал трепать слипшиеся пряди. И машины, не объезжая лужи, окатывали брызгами с головы до ног. Красный на светофоре горел дольше зеленого, на ровном месте вырастали столбы. Мир перестал играть по ее правилам. Хлопушка. Снято.

Спустя две недели темнеет гораздо раньше. Звезды загораются, уже когда Кира спускается со школьного крыльца. Хлопает себя по карманам, вот же черт! Второй день подряд оставляет дома наушники. Только в метро, как обычно, куча народу. Поток черных пуховиков движется в сторону эскалаторов. Взгляду не за что зацепиться, но внезапно он падает на женщину в светло-лимонном плаще. Она щебечет по телефону, прикрывая ладонью улыбку.

Обернувшись, Кира улыбается ей в ответ. Лестницы медленно проплывают мимо друг друга.

Юлия Лаврова, 17, Барнаул

«Всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся...» (Ф. Достоевский «Преступление и наказание»)

В поиске

Прогуливаясь по Восточному шоссе в Киото, в свете фонарей иногда можно различить сгорбленную фигуру высокого человека, медленно идущего по проспекту. Если подойти и спросить его, что он тут ищет, он всегда ответит: «Мечту».

Это произошло поздней осенью, в конце ноября, в Японии, когда снег ещё и не собирался выпадать, а холода застали город неожиданно быстро, окончательно знаменуя уход золотой поры. Мужчина лет тридцати медленно прогуливался по тротуару, подмечая мрачность и серость многоэтажек, гордо возвышающихся над людьми. Ранним утром улицы Токио пустыньны, в окнах ещё только загорается тёплый свет ламп, на дорогах изредка можно увидеть торопящиеся машины. Мужчина был одет просто и скромно, без характерных для его лет изяществ. Носил он чёрный потрёпанный плащ поверх старой телесной рубашки, тощие руки его всегда безвольно висели вдоль тела, а пальцы постоянно находились в тревожном движении, расцарапывая кожу до крови; изношенные туфли были натёрты до блеска и не сочетались с остальным образом; на голове у него уже виднелись залысины, что только прибавляло с десятков лишних лет. Находясь в раздумьях, он, сам того не замечая, вечно закусывал губы, периодически пожёвывал их и невпопад бурчал что-то под нос. Окружающие не замечали его. Часто, проходя мимо, кто-то ненароком зацепит, заденет, толкнёт его и даже не извинится. Только сам мужчина может прошептать что-то, однако никто не услышит и не поймёт, что он сказал.

Каждое утро он отправлялся на работу. Всю свою жизнь, начиная с шестнадцатилетнего возраста, он провёл за станком упаковки. На заводе у него не было имени – ни у кого его не было в этом месте – к нему обращались исключительно «упаковщик номер 4». Это число висело на нём как пожизненное клеймо, лишая права выбора и обличая невзрачность его натуры. Мужчина давно смирился со своей участью и прискорбно отсчитывал дни календаря.

Сегодняшний день не стал исключением. Люди у станков двигались механически и выполняли работу, которая сопровождала их вчера, позавчера и тысячи предыдущих дней. Всё взаимодействие в коллективе ограничивалось скухими фразами: «это на второй конвейер», «побыстрее» и «передай смену номеру пять».

Прогуливаясь после работы в парке по отточенному годами пути, его взгляд всё время был обращён к земле. Он считал каждый неровный камешек, одинокую травинку, опавший листочек; следил за своими и чужими ногами; наблюдал, как маленькие розовые ботиночки семенили по тротуару или как крупные и высокие сапоги топали по дороге; мог по темпу ходьбы определить темперамент; подмечал и оценивал каждые ноги, прошедшие мимо. Вот слышно, как вдалеке стучат каблуки элегантной и статной дамы, вскоре в поле зрения мужчины появляются тоненькие гладкие ножки, обутые в прекрасные белые босоножки, не проходит и двух секунд, как миленькая дама убегает по делам; дальше ступают толстые, тяжёлые мужские ноги, одетые в лакированные туфли, сразу за взрослыми пробегают крохотные розовые кроссовочки, пытаясь угнаться за ногами-родителями.

Глаза мужчины в этот день находились в полуприкрытом состоянии. Он не видел горящих ночных огней вечера и весь мир казался ему глубокой, непроницаемой тьмой. Он и не заметил, как оказался у входа на станцию. На циферблате огромных

вокзальных часов застыли цифры: одиннадцать часов двадцать четыре минуты. Что-то странное было в этом времени, от него несло роковым предзнаменованием, сулящим вечную мглу и окончательный покой.

Мужчина подошёл к железнодорожным путям, осмотрелся и в нерешительности замер перед самым краем платформы. Поездов не было. По расписанию следующий – экспресс – должен был пронестись мимо через тридцать шесть минут. Не останавливаясь. Он отступил от ниши и сел на скамейку, ожидая наступления нужного часа. Время тянулось мучительно долго, по прошествии каждой минуты нога мужчины начинала дёргаться всё сильнее, а кутикулы пальцев рук уже давно были разодраны в клочья. Губа кровоточила из-за слишком сильного надкуса, а каждый вдох болезненно отдавался в груди. Неожиданно с другой стороны лавки оказалась совсем молодая девушка, точно студентка первых курсов. Когда она успела подсесть, упаковщик не понял, однако внешний вид и поведение девушки несколько отличались от привычных для их менталитета. Её бежевое пальто гармонично сочеталось с тёмными распущенными волосами, в руках она держала миниатюрную сумочку, а аккуратные высокие ботильоны придавали образу утончённость. В воздухе вокруг неё не было давящей тяжести реальности, казалось, моргни, и она исчезнет, испариться, растает, будто всё её окружающее и она сама была просто сном, несбыточными грёзами.

Девушка искоса поглядела на мужчину. Вокруг стояла тишина, прерываемая лишь звуками природы. Затем она повернулась к нему лицом, пододвинулась поближе и тепло улыбнулась:

– Вы кого-то здесь ждёте?

Мужчина даже не понял, что обращались к нему, но, заметив пристальный взгляд собеседника на себе и продолжительное молчание, он поторопился ответить.

– Э, д-да, мм, точнее н-нет, – было видно, с каким трудом ему давалось каждое слово.

– Можете звать меня Юмэ, – произнесла она, и её голос прозвучал так легко, пружинисто, будто тихий шелест молодой сакуры. – Знаете, мне немного грустно вот так оставлять этот город, но я думаю, что это всё-таки к лучшему.

Мужчина не понимал, о чём говорила эта студентка. Впервые за день он поднял глаза и удивился. Его взору открылось миленькое личико Юмэ, что с теплотой смотрела на него, грязного, потрёпанного жизнью, тонущего в собственной слабости. Она не видела в нём всей этой наружности, а смотрела куда-то глубже. На секунду девушка показалась ему просто его глупым воображением, бесполезной попыткой его больной головы самостоятельно спастись. Он всё-таки не выдержал и спросил:

– В-вы к-куда-то уез-с-жаете?

– Да-а, уезжаю. Буду учиться в Киото. А как Ваше имя, господин? Вы не представились.

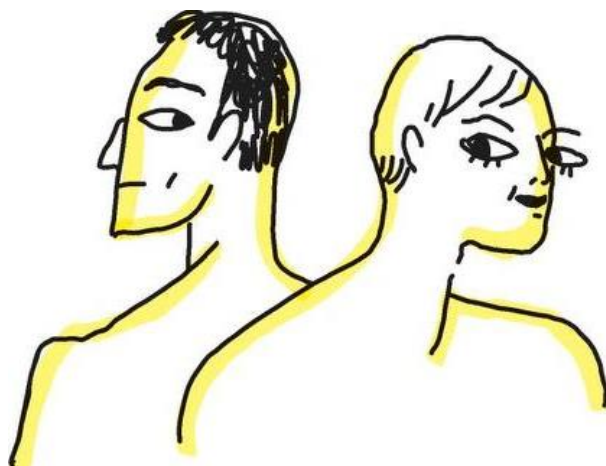
– А...Меня? Моё имя...имя... – Юмэ терпеливо ждала его слов, не подгоняя, не вынуждая говорить, не переводя тему. Просто непринуждённо ждала. Она будто понимала его невысказанные чувства. Со временем вечно поднятые плечи мужчины опустились, нахмуренность на лице сменилась расслабленностью, а взгляд прояснился.

– Нобору... – наконец проговорил он.

Девушка опёрлась подбородком о руку.

– Красивое имя... – словно пропела она.

Вдруг вдалеке появились несколько фигур. Юмэ поднялась с места и несколько смазано попрощалась, но её остановил резкий крик:



– Стойте! А п-почему именно эт-тот город? – мужчина привстал, готовый в любой момент ринуться навстречу девушке.

На её лице расцвела искренняя улыбка.

– Потому что в Киото рождаются мечты, – проговорила Юмэ перед тем, как окончательно убежать.

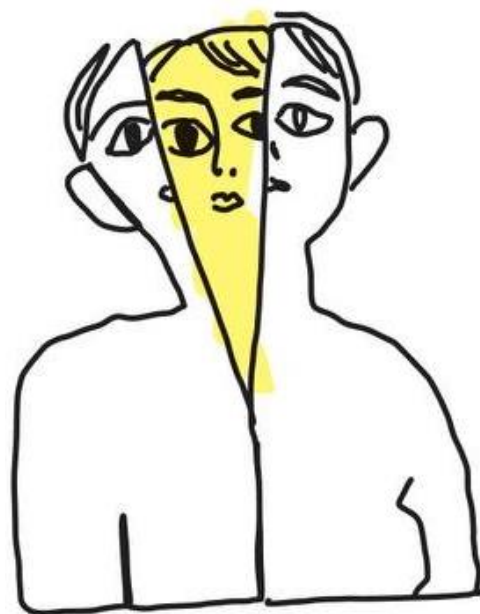
После этих слов глаза мужчины заблестели, и появилось в них что-то такое, что придавало свечение всему его образу.

Ещё долго он не мог пошевелиться и упрямо смотрел вслед исчезнувшей девушке. Когда же Нобору всё же двинулся, то уже не обращал внимания на серые здания: во мраке он любовался горящими фонарями, которые, словно звёзды, указывали путь домой. Глаза больше не были прикованы к земле, они невольно обращались к тёмному небу, к луне и ко всему остальному – возвышенному. Так он и дошёл до дома. На следующий же день Нобору не появился на работе, а из его квартиры пропали все вещи. Никто не поинтересовался, куда испарился мужчина, почему никого не предупредил. На заводе место упаковщика номер 4 досталось другому, а вскоре пустую квартиру заняла молодая супружеская пара. И никто не стал искать пропавшего, зато в детских сказках появилась ещё одна история. История про человека, ищущего мечту на улицах Киото.

Ника Зими́на, 16, Москва

«Когда долго смотришь на море, начинаешь скучать по людям, а когда долго смотришь на людей – по морю».
(Харуки Мураками «Слушай песню ветра»)

Точно



Ты просыпаешься в 11:47, хотя будильник стоял на 9:00, и это уже маленькая победа над капитализмом. В комнате пахнет вчерашним табаком, пылью и слабой надеждой, что день не начнётся. Ты лежишь, смотришь в потолок и машинально начинаешь свой любимый и ненавистный процесс, на который у тебя уходят все силы – размышления. Ну что, великий русский писатель, сегодня опять ничего не напишешь? Потолок молчит. Он вообще удивительно терпеливый собеседник. Сегодня ты действительно ничего дельного не напишешь. Дельного... Кто вообще придумал это слово? Что оно означает? Может те недостиги, что ты пишешь на стене в мрачном подъезде, для кого-то дельные? Да уж, это явно не те мысли, с которых ты должен начать свой день.

Ты встаёшь, находишь на стуле мятую футболку, натягиваешь её. Худой, длинный, сто восемьдесят пять сантиметров неуверенности в себе. Кудри торчат в разные стороны, как мысли о будущем. Ты проходишь мимо зеркала и не то чтобы пугаешься – скорее здороваешься с человеком, которого давно пора сдать в архив. Ещё молодой. Всего двадцать восемь. Ну, если считать по-настоящему, то семь. Родился-то 29 февраля. Семь дней рождения. Можно сказать, ребёнок. Ребёнок с одышкой, долгами и стойкой неприязнью к соцсетям.

На кухне сосед-тусовщик, по совместительству – твой единственный близкий друг, оставил записку: «Погнали на выставку, потом к ребятам, потом, может, в бар. Ты же не будешь опять сидеть дома как старик?» Будешь. Ты не старик, ты антиквариат. Тебя надо беречь и протирать влажной тряпкой. Как обычно, отложив записку в сторону, ты, очевидно, ничуть не поменял планы на день. Предстоит грандиозный поход в круглосуточный магазин у дома. Денег в кармане куртки хватит на пачку сигарет и на самую дешёвую еду, которая в магазине честно называется «продуктами». Ты покупаешь хлеб, макароны, сигареты. Ну гурман. Прямо-таки эстет. Человек, который стряхивает жизнь в пепельницу, но зато с чувством стиля.

После импровизированного завтрака ты снова выходишь на улицу. Васильевский остров сегодня серый, как будто его нарисовали одним карандашом. Ну конечно, слащавые парочки даже в такую погоду находят вдохновение испортить всем и так обречённый день своей вымораживающей нежностью. Неужели им действительно это нравится? Заняться что ли нечем больше? Ладно если бы она была как Анна Каренина или например... Например, Одинцова! Да, точно, Одинцова! Точно? Ты читал это в старших классах, кажется. Или вовсе не читал, а попросил одноклассника пересказать. Почему ты так запомнил эту Одинцову? С Карениной-то всё хоть понятно, ты перечитываешь её уже в шестой раз. Или в седьмой.. Нет, нет, точно в шестой. Точно. И вообще, существует ли любовь? Не та, из рекламы, где люди держатся за руки на фоне заката, а та, которая выдерживает понедельник, пустой холодильник и молчание. Ты не знаешь. Скорее это просто привычка, а привычка – это ответственность. А ответственность – это собака, которую ты не заводишь. Ты кормишь бездомных псов и кошек остатками своего ужина, но себе не берёшь. Ты не жестокий. Ты всего лишь честный трус. Зато честный. Животные не спорят. Они просто едят. Ответственности ты боишься. Точно боишься? Может, просто

презираешь, как успех, соцсети и новую музыку? Нет, ну от этой музыки же действительно уши в трубочку сворачиваются! И ведь это правда кто-то слушает... Ты даже предполагаешь, кто. Та парочка, что осталась на сто метров позади тебя, наверняка проводит вечера под эти адские симфонии. Может, это они на них так влияют. Хорошо, что ты не такой. А может, лучше быть как они? Нормальным, что ли... С каких пор они – нормальные? Ты точно не хочешь быть как они. Точно.

Ты решаешь зайти к маме. Пройдя через каменный мост, как обычно надеясь, что именно под тобой он разрушится, ты всё же дошёл до её облезлого желтоватого дома. Мама волнуется, спрашивает, ел ли ты, ищешь ли работу, не куришь ли. Какое курение, мам? Упаси господь. Просто через эту бумажную трубочку, набитую травой (эвкалиптом, да, точно, эвкалиптом), легче дышать. От кашля помогает, мам. Ты же её поджигаешь, чтобы согреть горло. Мама грустно усмехается. Ты не привык быть с ней серьёзным. Она смотрит так, будто хочет завернуть тебя в одеяло и оставить дома. Ты любишь её, но не умеешь сказать это прямо. Вместо этого говоришь: «Всё нормально. Я почти знаменит. Ещё чуть-чуть – и меня будут издавать посмертно». Как скоро настанет это «посмертно»? Ей этого лучше не знать. Этого даже ты пока не знаешь. Она вздыхает. Ты коротко обнимаешь напоследок и уходишь.

С затихающими мыслями о встрече с матерью, которые постепенно смешивались с рассуждениями о смысле бытия, ты идёшь до места твоей работы, можно сказать. В этом антикварном магазине твой сосед снизу – дедушка, лет семидесяти пяти, даёт тебе протирать старые часы и статуэтки. Работа тихая, платят мало, но никто не требует структуры. Издательства требуют. «Сделайте нам чёткий сюжет, героя, конфликт, финал». Ты пытаешься, но твой финал всегда убегает. Ты свободолюбивый, как бродячий кот, и такой же бесполезный в системе. Дедушка говорит: «Пиши, как дышишь». Ты киваешь. Дышишь ты плохо, но пишешь ещё хуже. Ты – подъездный поэт. Твой главный читатель – лестница между вторым и третьим этажом. Ну, может, ещё замёрзшие подростки-романтики иногда заходят погреться в это не менее холодное место. По счастливой случайности они заметят твои наскальные надписи и сфотографируют для поста в печально известную соцсеть. Они хоть пробовали вчитаться? Там же не о любви совсем! Так зачем вы травите этой плесенью своих малолетних подписчиков? Ладно, может, это и вовсе никто не читает.

Отработав смену, ты шатаешься по дворам в центре Питера. Встречаешь уже знакомых бродячих музыкантов и актёров, которые в отчаянном забвении мычат любимые песни прокуренными голосами. Они шумные, нищие, живые. Тебя это забавляет. Есть в этом что-то родное. Ещё бы не было, ведь ты такой же актёр-поэт, только с крышей над головой. Ты садишься играть с ними в карты. Ты выигрываешь триста рублей, заплатив драгоценным временем. Хотя, у тебя оно вряд ли драгоценное. Терять тебе точно нечего. Кто-то из бродяг спрашивает, во что ты веришь. Ты говоришь: «В то, что завтра будет вторник. Это уже религия». Все смеются. Ты тоже. Докурив очередную сигарету и отхлебнув нечто непонятное из фляги одного из отчаянных творцов, ты прощаешься с ними. Идёшь домой, ставишь пластинку, доставшуюся от матери. Игла шипит, как старое радио. Ты слушаешь музыку 1960-ых и думаешь о будущем. Будущего нет. Есть только привычка просыпаться.

Ты ложишься. И вот чего ты лёг? Словно действительно устал. Да как тут не устать – кругом мракобесие какое-то, голова трещит. А у других – что, не трещит? Может, и трещит. Они слишком привыкли к треску. Это заметно: с ними невозможно общаться, ведь с трещащей крыши на тебя сыпется штукатурка. Кто ты? Почему так отделяешь себя от остальных? Зачем? Почему ты не в Москве? Почему не с сестрой? Почему не в отношениях? Почему не завёл собаку? Эти вопросы будто задаёт кто-то другой, ведь ты прекрасно знаешь на них ответы: потому что ты умеешь только иронизировать и мыть антиквариат, потому что в твоей черепной коробке и так

чересчур много мыслей, нечего её ещё кем-то забивать. И это почти честно. Ты закрываешь глаза. Город шумит за окном. Ты засыпаешь. Завтра будет ещё один серый день. И ты, скорее всего, снова его переживёшь. А может, и нет.

Дни проходят по чётко прописанному сценарию. Ты всё ещё пытаешься найти издательство, где тебе разрешат свободно высказываться. Хотя что-то в этом мире стабильно. Решил однажды даже потряхнуть стариной и сходил на пробы в театр, однако и этот поход не увенчался успехом. Недавно поссорился с другом, лучшим другом. Легко быть лучшим, когда один в категории. Из-за чего именно, ты не помнишь – вернее, помнишь, но так, будто это было не с тобой: кухня, две чашки, одна давно остыла, вторая так и не была налита. Помнишь, что он сказал что-то о твоей нерешительности. «Ты не боишься провала. Ты боишься, что придётся выбирать. И поэтому не выбираешь ничего». Ты усмехнулся, полез за сигаретой, стал искать зажигалку, хотя знал, что она в другом кармане. Он смотрел на это молча. А потом добавил: «Ты всю жизнь ждёшь, что тебя кто-то подтолкнёт. А когда толкают – обижаешься». Ты хотел ответить, что он ничего не понимает, ведь ему легко говорить. А откуда тебе знать, легко ему или нет? Но вместо здравого ответа, ты, как обычно, сказал какую-то колкость. Он ответил, повысив голос. Ты ответил ещё громче. И вот уже не разговор, а ссора, где каждый пытается задеть слабые стороны друг друга. Он ушёл, хлопнув дверью – не сильно, но достаточно, чтобы в ушах на мгновение зазвенело. Ты не помнишь, кто был прав.

Не-ре-ши-тель-ность... Это слово настойчиво звучит в голове уже месяц. Как он посмел? Откуда он знает, как именно выглядит решительность? А ведь и ты не знаешь. Может, всё-таки ты и есть – нерешительный? Ты чересчур много думал о его словах и мыслях. Тогда ты запланировал прыжок. Пока не из окна, а с парашютом. На накопительном счёте оставалось пятнадцать тысяч. Пятнадцать. Прыжок стоит десять. На что тебе ещё тратить? На сигареты и еду, от которой уже тошнит? Или, быть может, на бумагу для очередных неудачных статей, которые ты снова напишешь в пустоту. Надо проверить, нерешительный ли ты на самом деле. Оставить судьбе управление этим моментом. Никому не сказал. Даже другу. Особенно другу. И вот...

Разгон. В голове всё ещё крутятся мысли о неправильных поступках, сложном выборе, будущем, ссоре с другом. Ты сидишь в костюме, похожем на космический, но почему-то чувствуешь на своём теле джинсы и свитер. Они были на тебе в день, когда на тебя накричали в транспорте. Что не понравилось той женщине? А, точно, ты не уступил ей место в абсолютно свободном автобусе. Это же абсурд! С чего это ты должен был так сделать?

Взлёт. Ситуация с автобусом понемногу отпускает. Скорее всего, несчастная женщина забыла твоё лицо на следующей же остановке. Надо последовать примеру этого гордого существа. Невесомость чувствуется даже через заржавевшее железо самолёта. Пути назад нет. Земные проблемы тебя больше не касаются. Ты, кажется, ближе к птицам, нежели к людям. Переживания плавно перекрываются восхищением вперемешку с неконтролируемым волнением. Ты вроде никогда не боялся высоты, почему сейчас такая мысль в твоей голове? Наверное, так принято. Или, быть может, так устроен человек. Замечаешь, как твои мысли уходят всё дальше и дальше от тех, что были при разгоне. Остаются считанные минуты до того самого момента. Волнение сменяется восторженным страхом. Руки начинают леденеть и трястись, ноги немеют. Что делать? Тебе же через пару мгновений нужно будет собраться и уверенно подойти к краю. Что-то похожее на панику. Откуда тебе знать, как ощущается паника? В чём разница со страхом? Почему тебе кажется это ненормальным? Всё же под контролем. Точно под контролем. Точно. Да, это точно. Точно?

Голова гудит от бесконечного потока бессмысленных рассуждений.

«Проверить оборудование, подготовиться к прыжку».

Ну всё. Пути назад нет, точно. Точно? Только если прыгать без парашюта. Не сегодня, пожалуй. Хотя, ты представляешь примерно один исход обоих вариантов. Нет, наверное, это всё же безопасно. Безопасно, да. Точно безопасно. Точно.

Ты подходишь к краю. В голове то ли исчезают все мысли, то ли их становится критически много. Они смешиваются в неразборчивое многоголосье. Ноги всё ещё предательски ватные, руки, находящиеся на лямках рюкзака с парашютом до боли сжаты в дрожащие кулаки. Ты видишь под собой пропасть. Облака выстелились мягким ковром под самолётом. Земли не видно. Вообще. Ты не понимаешь, насколько высоко находишься, из-за чего страх утихает.

Прыжок. Безумным порывом ветра тебя заносит под самолёт и переворачивает несколько раз. Что-то не так. Что-то точно не так. Точно.

«Через минуту мы стабилизируемся, будешь любоваться пейзажами».

Голос инструктора обнадеживает. Наверное, всё под контролем. Наверное. Ты действительно перестаёшь вращаться, как подбитая птица, полёт становится ровным. Виднеется земля. Инструктор показывает, где окраина города, твой район, крупные реки. Тебе действительно сложно это осознать, ведь под тобой лишь неоднородный зелёный ковёр. Где-то там твой дом... На всём этом ковре живут люди: кто-то сейчас на работе, кто-то в школе, кто-то только что принял важнейшее решение в своей жизни. А кто-то, наверное, поругался с бабушкой в автобусе. То есть, когда ты это делал, кто-то так же был в невесомости и думал ровно так же. Так какое значение вообще имеют все наши действия? Какой смысл думать о мнении других? Кому какое дело до твоих ошибок?

Свобода. Да, точно, свобода. Точно.

Приземление. Земля оказывается твёрже, чем казалась. Ты слышишь не слова инструктора, а лишь неоднородный шум. Потом тишина. Обычная, земная. Пахнет травой, пылью, бензином. Ты собираешь ткань, как будто складываешь себя. Руки ещё дрожат. Ты думаешь: значит, вот оно. Значит, можно. Никто не попросит оправдываться. Не нужно никому ничего доказывать. Значит, можно. Да, точно можно! Точно!

Друг так и не позвонил. Или ты не позвонил. Та бабушка тоже не напоминала о себе. Или ты стал меньше ездить на автобусах. Неважно. Важно, что где-то под облаками осталась твоя старая обида. Или не осталась. Точно? Точно.

Ты не помнишь вчерашний вечер. Состояние эйфории полностью затуманило сознание. Этим утром ты просыпаешься с необычайно лёгкой головой. В ней совершенно не было мыслей. Ты

хочешь встать и начать, уже на самом деле, продуктивный день. Но ты не учёл, что из-за огромного сопротивления воздуха на высоте 4000 метров, тело переживает неестественную нагрузку. Болело всё. Прямо вообще всё. Может, прыжок тебе приснился и на самом деле тебя просто побили твои бродячие друзья? Похоже на то. Посмотрев на прикроватную тумбочку, ты видишь фотографию себя, летящего в небесной пустоте. А нет, не избили. Значит, это действительно случилось. Ты смог. Тебе понравилось быть решительным. Это забавно.

Впервые за последние несколько лет ты с утра не мечтаешь выкурить пачку сигарет за раз и примерить верёвку вместо цепочки на шее. Наверное, даже готов разговаривать, чувствовать и выбирать, а не просто думать. Ты не знаешь, что это за состояние и как долго оно продлится, но оно тебе нравится. Точно нравится? Да, точно! Точно.

Георгий Жданов, 16, Ставрополь

*«Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал» (А. Пушкин «Евгений Онегин»)*

Утро

Будильник прозвенел в 6:15. Опять. Из крана полилась холодная вода, а десны обжег химозный вкус мяты. Снова.

Постель заправлена, чай с традиционной долькой лимона заварен и стоит на столе. А через полчаса автобус подъедет к остановке и повезет нашего героя в центр города. А зачем? Зачем ехать туда, где никто не ждёт? Кажется, что никогда больше не будет лета. Цепочка времени заморожена, и только лучи летнего солнца разморозят ее. А лета не будет. Он просто застрял.

Грохнула за ним закрывшаяся дверь автобуса, который повез его дальше. Мимо дома, мимо знакомого с детства района. Дальше - из гармонии в хаос. А назовет ли он это хаосом? Днём сурка, не более. Он уже привык, не переживайте. Привык к похожим один на другого людям, к серым стенам, монотонной болтовне и бессмысленным диалогам.

За окном показалось поле. Раньше на нем собирались подростки, устраивали шумные пляски и пели песни под гитару. Именно там когда-то он обретал веру в лучшее. Было это так давно, что когда ему снилось то лето, он принимал его за выдумку. Он не верил, что лето было на самом деле.

Их было трое – он, Саша и Диана. Вообще у нашего героя было имя – Герман, а сокращенно Гера. Но так называли его только друзья. Сашка и Диана были парой и встречались уже несколько лет. Иногда в их обществе Гера чувствовал себя лишним, хотя понимал, что это далеко не так – друзья любили его и специально звали его с собой, ведь без него компания не будет полной. В свою очередь Гера любил их обоих – всем сердцем, всей душой. Как у любой хорошей компании, у них было своё место для посиделок – огромное поле, заросшее травой, которое располагалось за густым лесом. Они собирались там по вечерам – Саша брал гитару, Гера – перекус, а Диана – свой великолепный голос, ведь пела она, как ангел – ни больше, ни меньше. Так проходил каждый почти каждый вечер, пока однажды Саша с Дианой не уехали в другой город. Ребята поступили там в колледж своей мечты, а Гера остался в своей школе – пошел в десятый класс. Ему обещали звонить и писать. Поначалу действительно писали и звонили – но с каждым разом всё меньше и меньше. Затем они не поздравили Геру с днем рождения, не приехали на каникулы, а потом перестали отвечать на звонки и сообщения. Гера не мог понять причину. Его душили страх и волнение, но надежды он не терял. Когда после отправки его последнего сообщения прошел месяц, он пошёл на поле.

Он сидел там долго, бесконечно долго. Пальцы на руках коченели, щеки больно щипал мороз, а он ждал – ждал, когда вдалеке появятся два силуэта – высокий и чуть поменьше. Но они не пришли.

Он не хотел в это верить. Не хотел верить, что никто больше не позовет его по имени, не обнимет так, как обнимали его друзья и не споёт его любимую песню. Так он забыл про свое имя, а вскоре – про лето.

Автобус слишком долго вез его по одному и тому же маршруту. Каждый день тот же гул мотора, тот же серый пейзаж, зацикленный, как заезженная пленка. День

сурка душил его цепкими черными лапами с длинными когтями, лишая способности дышать полной грудью.

Но сегодня поле звало. И звало очень громко.

«Остановите здесь!» — крикнул он, удивившись громкости своего голоса. Двери зашипели, выпуская его в промозглую тишину обочины. Автобус уехал, увозя с собой предсказуемое будущее, а он уже бежал. Ноги путались в высокой сухой траве, колючие стебли цеплялись за одежду, но он не останавливался, пока не оказался в самом центре этого бескрайнего пространства.

Там, где шум дороги окончательно затих, он рухнул навзничь. Земля была твердой и холодной, но он принял её, как самое мягкое ложе. Закрыв глаза, он почувствовал, как земля становится теплее, словно поле почувствовало его приход и стремилось согреть.

Холодный ветер по-прежнему гулял над полем, ерошил его волосы и забирался под куртку, но из груди тонкими струйками по животу и шее разливалось тепло. Стоило векам сомкнуться, как он снова оказался там - в шумной, пряной и безопасной атмосфере, в вечном сне. Он слышал гомон голосов, звон медных побрякушек, шелест старых карт и запах сушеных трав. Ему давно снился этот мир, где любая вещь имела смысл, каждый обмен был актом доверия, а каждая улыбка была большим, чем просто радостью.

Ему давно надоела фальшь, окружавшая его со всех сторон и давящая невыносимо сильно. Он гонялся за каждой искренней улыбкой, за каждым горячим объятием, словно собирая в копилку, запоминая каждый момент. Ему нужны были люди. Он знал, что в том обществе, где рука об руку с ним будет шагать искренность, ему будет хорошо. По-настоящему хорошо. Искренне.

К нему подбежала шумная толпа, которая легла на эту траву рядом с ним. С обеих сторон кто-то взял его за руки. И не было лучше и приятнее ничего, чем просто лежать, держа кого-то за руки и наслаждаясь жаром солнечных лучей. Он лежал неподвижно, раскинув руки, словно пытаясь обнять всё это поле. Ветер пел свою ледяную песню, но ему было хорошо.

Петля времени наконец разорвалась. Здесь, в тишине и холоде, он больше не откроет глаза.

Он наконец-то был дома. Хотя дом был не здесь, а в прошлом.

Злата Бережная, 17, Краснодар

«Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа» (О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»)



Ромашки

В погоде смешивались весна и лето. Точно, как в мае. Аня любила май. Любила его в календаре, отражение в окне и запах поздним вечером. Даня с соседней улицы так и говорил: «Перевесна, недолето». Сейчас же по его логике была «недоосень».

Аня шла по грунтовой дороге, с двух сторон смотрели дома: деревянные калитки, зелёные двери и крыши сараев. И каждый дом говорил про своего хозяина. Аня уже не помнила, какая песня играла в наушниках минуту назад и играла ли вообще. Она как будто стала частью улицы. Пыль забивалась в кроссовки, и от этого хотелось идти ещё больше.

«Ма, я купила хлеб», – быстро набрала Аня на экране телефона. «Первая половина вкусная. Вторая – пока не знаю». Писать сообщение было не обязательно, но Аня просто хотела кому-нибудь что-нибудь сказать.

Толстовка была на удивление удобная, хотя бирка между капюшоном и спиной всегда царапала шею. Неделью назад Аня даже закатила маме скандал. Но вряд ли в этом была виновата одна бирка.

Кошка перебежала через дорогу. Чёрная, но к счастью. Аня наклонилась и позвала её. Не идёт. Чёрный хвост вильнул и исчез между досками забора. Наверное, тоже к счастью.

Дома стояли вразнобой – кто-то покосился, кто-то врос в землю по самые окна. Тишину нарушал редкий лай собак. Аня свернула на соседнюю улицу. Асфальт заканчивался на одинокой остановке без крыши с объявлением на столбе «Потерялся кот. Зовут Марсик». Дальше тянулась грунтовая дорога с лужами и следами от проезжающих велосипедов. За полосой кустарников – Аня решила, что это черёмуха – тянулись жёлто-зелёные поля, смешиваясь с голубым небом. Вывеска «Продукты» на магазине выпцвела и стала светло-красной. Всё было таким привычным. И Аня это любила. Она прожила здесь все свои семнадцать лет.

Перед воротами дома с дерева свисала качель. Обычно на ней катались мальчишки с другой стороны речки. Аня приходила сюда только по вечерам, когда один фонарь с соседнего дома светил в темноту, подобно луне, и то исчезал, то появлялся в листьях дерева.

Песня в наушниках кончилась одновременно со скрипом калитки и ржавого замка, ключ от которого пропал неизвестно когда.

– Ма, я дома, – крикнула Аня, стягивая левый ботинок.

Тишина. Подозрительно.

На нижней ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж, стоял парень. На Аниной лестнице в Анином доме.

– Вы не мама.

Аня не отпускала незнакомца взглядом. Она рассматривала его молочную рубашку, клетчатую жилетку и брюки со стрелками, слишком официальные для

деревни. До блеска вымытые туфли и стрижка, как из журнала. Но вот глаза незнакомца совсем не вписывались в его городской образ.

Глаза выдавали, они хотели рассказать о чём-то, вот только говорили слишком тихо. Но Аня услышала. Наверное, это непривычно, когда слышат твой рассказ, столько времени скрывавшийся от других. Может, в городе слишком шумно.

Городской. Аня хотела дать ему новое подходящее имя. Но вместо этого сказала:

– У вас носки разные.

Незнакомец-Городской посмотрел вниз, потом снова на Аню.

– Я не замечал.

– Но сейчас заметили?

Незнакомец снова посмотрел на ноги, будто ему не хватило одного раза.

– У вас ботинок один, – заметил он, кивнув на Аню.

– Ботинок? Да. Я не... – Взгляд исчез в щелях пола. – Да какая вообще разница?

Кто вы такой?

– Антон, Антон Никольский. Журналист, – то ли по привычке, то ли чтобы соответствовать своему деловому образу, официально представился незнакомец-Городской. – Я снял комнату у Марии Павловны, на втором этаже. Вы, наверное, её дочь.

Значит, Антон.

– Аня, Аня Желудева.

Одно имя не отвечало на все вопросы.

– Журналист? У нас ведь здесь совсем ничего не происходит. Никаких сенсаций, убийств... Или зачем вы приехали? Просто так? Это всё так глупо. И мама мне ничего не сказала. Какая глупая первая встреча! У нас постояльцев не было с моих девяти! Это всё...

Аня выдохнула и хлопнула руками по подолу платья. Пробормотала неуверенное «простите».

– Антон, – повторил незнакомец. Он пытался скрыть улыбку – не вышло.

Второе знакомство.

– Аня...

Она спрятала руки за спину. «Обычное, неловкое молчание, за которым не следует ничего сенсационного», – пронеслось в голове.

– Может, чаю?

– Незнакомец предлагает мне чай в моём собственном доме?

Чайник, бежевый, керамический, засвистел, пуская горячий пар в подвесные шкафы. Антон-незнакомец выключил газ. Он прихваткой поднял чайник и приготовился разливать кипяток в выставленные чашки. Они касались друг друга своими круглыми фарфоровыми ручками.

Остановился.

– Зелёный. С мятой. Не обязательно. Просто вкусно, – выпалила Аня.

Антон-незнакомец кивнул и снова улыбнулся. Или Ане показалось.

Она никак не могла перестать говорить «незнакомец». Это слово стало тем самым подходящим именем, которое Аня не успела дать и от которого уже невозможно было избавиться. «Антон» – неправильно резало слух.

Незнакомец-неправильно-звучащее-Антон налил Ане чай на их с мамой кухне. Одно противоречило другому, но всё, кажется, было взаправду. А мама – мама, наверно, ушла. Она бы обязательно встретила Аню, если бы была дома.

Почему Аня думала об этом? Рассматривала окошко, словно видела его впервые, льняные лоскуты-жалюзи, круги-года на деревянной столешнице...

– У вас здесь хорошо. – Незнакомец, который отнюдь не был незнакомцем, поставил на стол до краёв наполненные чашки. Не разлил.

– Знаю. – Улыбка сделала голову тяжёлой и потянула вниз. Взгляд утонул в светло-зелёном прозрачном чае.

Снова молчание. Аня выдала ему по шкале «нелюбимых» твёрдую восьмёрку вместо прежней «четыре». Раньше оно казалось безобидным. Сейчас каждое движение – новое, чай – новый, кухня – новая. Тёплые ожоги на щеках – тоже.

Аня подпёрла голову рукой. Ладонь не горела, она была практически ледяной.

– Выходит, вы – журналист. И значит приехали к нам не просто так. Надоела быстрая жизнь города? Или «начать с нового листа – выключен телефон – брошены старые знакомые»? Не похоже.

– Сенсации есть везде, не только в городе. Я здесь, чтобы...

Аня прислушалась, забыла про неправильный чай и ожоги. Это «чтобы» было интереснее любых предыдущих слов. Оно скрывало мысли, мелькающие бегущей строкой в глазах незнакомца-Антон.

– У меня всё скучнее, – прервала бегущую строку Аня. – Но «скучно» не всегда значит «неинтересно». Свои события, люди. Я вот в школе уроки веду, у нас кружок свой. – Снова много, снова быстро, хочется рассказать всё. – Тихая, умеренная, та самая «скучная» жизнь. И в город уже не хочется...

Увидел ли Антон в «уже» бегущую строку?

Молчание, улыбка – его, тепло-горячий глоток чая, который был «не таким». Или, наоборот, впервые за всё время стал правильным. Аня не знала.

Часы на стене между холодильником и картиной отсчитали четыре вечера. Потом пять – уже в Аниной комнате на рабочем столе. Вечером вернулась мама. И всё ещё сильнее пошло наперекосяк. Наперекосяк пошла Аня.

– Что происходит, мам? – шёпотом – на втором этаже был Антон – выпалила Аня.

– Я тебе сейчас всё объясню.

– Что объяснишь? Что с нами теперь живёт какой-то незнакомый человек из города?

– Ань, послушай...

– Мам! – Слишком громко, слишком грубо. Аня три часа в пустой комнате ждала момента, когда сможет нормально поговорить, но сейчас хотелось только плакать, кричать или молчать.

Молчала. Сидя на стуле, поджав ноги.

Мама взбивала миксером яйца. Потом два стакана муки, один – сахара. Аня знала наизусть рецепт шарлотки. По-хорошему надо было подойти, помочь, сказать, но она не могла даже встать со стула.

– Даня Поле подарил ромашки, – себе в коленки сказала Аня.

Мама улыбнулась. Аня это знала, даже если мама стояла спиной.

– Будешь взбитые белки? – Мама протянула венчик от миксера. Аня молча взяла и улыбнулась. Но было почему-то грустно.

Утро началось с запаха шарлотки. Значит, мама встала. Значит, всё так, как и должно быть. Аня натянула длинный худи и бегом спустилась вниз.

– Привет, ма.

Чай тепло грел руки после открытого ночного окна.

– Опять босиком. Хоть тапки бы надела.

– Мне нормально.

На самом деле холодно. Но лучше не говорить, лучше поджать ноги и дальше пить чай.

Вскоре мама ушла к соседке. Аня осталась в тишине кухни. Только петух прокричал за окном.

Вдруг скрипнула половица. Аня знала, что это вторая ступенька лестницы сверху. Она всегда её переступала. Аня непроизвольно напряглась. Вниз спустился Антон. В рубашке и чёрных штанах, в руках – серенький ноутбук.

– Доброе утро, – первым поздоровался он.

– Доброе.

– Можно?

– Конечно... Да.

Аня проследила взглядом, как Антон подошёл к столу и сел напротив. Молчание. Она прервала его глотком чая.

– Рано ещё, – сказала Аня.

– Не спится.

– У нас с пяти петухи, – улыбнулась она. – А мама в шесть обычно встаёт. Она печёт. Если хотите, можете налить чай.

Антон кивнул. Было до странного привычно видеть его на кухне.

Клавиши застучали, отпечатывая буквы на белом экране.

– Что пишете?

– Статьи. Нужна история, которая понравится людям.

– Каким людям?

– Читателям.

– А вы их знаете? Читателей?

Антон не ответил. Аня отпила чай. Молчание стало другим – не неловким, обычным. Просто каждый думал о своём.

– У нас тут была история, – вдруг сказала Аня. – Лет десять назад. Говорили, что на Садовой мужчина клад нашёл в огороде. Все думали, что разбогатеет. А он в речку монеты выбросил. Сказал: «Не моё».

Антон оживился. Застучал по клавишам.

– А как зовут его?

– Иван Викторович. Но он умер.

– А что случилось? В каком огороде? Может, кто-то помнит...

Аня смотрела, как он пишет. Но ей не хотелось, чтобы незнакомец писал дальше. Из человека делал слова на белом экране.

– Вы не поняли. Он выбросил, потому что не хотел быть другим. Он хотел жить, как все. Копать огород, кормить кур. Клад бы всё испортил.

Антон перестал писать. Посмотрел на Аню.

– Это и есть история. Не про клад, а про дядю Ваню, – сказала она.

– Но читателям интересно...

– Про дядю Ваню интересно только тем, кто его знал. Я вот его знала. Он мне яблоки давал. Свои. Не магазинные.

Аня встала из-за стола. Струя воды в раковине минуту позволила не говорить.

– Если хотите, могу показать его дом. Но он самый обычный.

Антон мотнул головой.

Аня пошла в комнату. Потом – в школу – вести продлёнку у второклассников. И по кругу, как всегда. Только в доме теперь находился не только дом.

Выбивались из головы нужные слова. Всё чаще мысли возвращались на кухню, на ступеньку лестницы, в кружку с зелёным чаем.

Вечером они сидели на крыльце. Мамы не было. Дом был «их». Аня чувствовала это «их». Дом почему-то перестал быть «её».

– Расскажите про город?

В канале перед домом стрекотали сверчки. Антон долго думал. Потом заговорил. Об универе, о том, как пил кофе на ходу, чтобы успеть на трамвай, о работе, о пробках, о поющих фонтанах и круглосуточных цветочных магазинах на остановках. Аня слушала его и сверчков, и всё это сливалось во что-то единое, непонятное.

– Когда мелкой была, мы ездили в город.

Аня смотрела на закат. Оранжевый, густой. Как варенье.

– Я думала – уеду потом и никогда не вернусь. Но всё потом, потом. А «потом» так и не настало.

Антон молчал. Он знал, когда нужно молчать.

– Я думаю, что это была плохая идея, – резко сказала Аня. – Глупая какая-то. Это же невозможно. Где я, а где город.

Оранжевый цвет неба превратился в бордовый. Малиновое варенье, перетёртое с сахаром. Аня обхватила колени руками. Антон пододвинулся ближе. Аня чувствовала его присутствие, касание руки, глаза.

– Красиво, – прошептала она. Не ему. Небу.

– Да, – сказал Антон. Не небу. Ане.

Начали петь лягушки со стороны речки. Они не квакали. Мама всегда говорила, что они кричат: «Ой-ир-ир». Аня тоже была в этом убеждена.

– А зачем цветочные работают круглосуточно? – снова заговорила она.

Антон улыбнулся. Даже рассмеялся.

– Если кто-то опаздывает на свидание? – Аня тоже улыбнулась.

– Наверное. Я не покупал.

– А у нас и покупать не надо. Вон сколько растёт, – Аня мотнула головой. Но она уже не была уверена, что «у нас» лучше, чем киоск на остановке в час ночи.

Аня не спала. На почерневшем небе звёзды выводили Большую медведицу. Луна светила полукругом. Аня мысленно дорисовала «с». Умирает.

Аня смотрела в потолок. Он был просто потолком. Там не отпечатывались буквы или мысли. Лампа была просто лампой. Глаз дверцы шкафа – ручкой. Но Аня всё это видела впервые. Вот так вот, как сейчас. И почему-то не любила.

В голове было слишком много. Аня отвернулась к стене и завернулась в одеяло. Холодно. Нужны носки. Или окно закрыть. Или думать перестать. Можно всё сразу. Заснула.

Прошла неделя. Потом две. Антон знал рецепт шарлотки, а Аня – зачем нужны круглосуточные цветочные. Ещё про метро знала – даже станции зелёной ветки выучила. Ховрино, Беломорская, Речной вокзал. Здесь, в деревне, всё намного проще. Трасса за полями и грунтовка вдоль домов. Автобус «210» с разбитым лобовым стеклом ездил раз в два часа в соседнюю станицу.

– Ань.

– А?

С Антоном они полторы недели назад перешли на «ты». Случайно, за чашкой зелёного чая с мятой.

– В пятницу поезд.

Аня перестала мыть кружку. Она снова захотела не любить город. Не думать о нём. В один момент она возненавидела поезд, чай, даже Антона.

Через три дня всё станет, как раньше. Неизменным, твёрдым, как камень, и длинным, как грунтовка. С кочками. На верхней полке шкафа останется лежать пустая сумка.

Почему-то слёзы тихо катились по щекам. За себя, за Антона, за город. Потом за маму, прошлое и мечты. И всё смешалось, словно в миксере.

Аня тронула молнию сумки. Холодная, металлическая. Как замок, ключ от которого потерялся неизвестно когда. За окном было тихо: не ездили машины, не разговаривали люди. Только петух крикнул один раз. Странно, что ночью. Может, показалось.

И небо показалось таким близким. До него можно было достать рукой, если подпрыгнуть. А раньше Аня думала по-другому. Ей казалось, что достать до неба

можно только с городской многоэтажки. Но в городе шумно – не услышишь петухов и звёзды. Не посидишь на крыльце, не сорвёшь ромашки вдоль канала. В городе нет Поли и Дани. И чего-то ещё нет, самого главного. Аня пока не знала, какое оно, «главное». Но оно точно было здесь.

Может, ручка шкафа, которая большим блестящим зрачком смотрела на Аню. Или сумка на шкафу, которая собирала пыль и не давала ей упасть на полку. Или липкое сиденье автобуса...

Сегодня была пятница. Аня всегда любила пятницы.

– Ромашки хочешь? – Спросил Антон и протянул букет.

Аня рассмеялась, как смеются, когда прощаются.

– Круглосуточные?

Антон обнял. Аня тоже. Тепло было касаться его рубашки. Даже без носков.

* * *

Ветер был мягким. Аня любила ветер. При нём особенно хорошо думалось. Город остался далеко за полями, куда не доедет «210» автобус. И Аня отчего-то была рада, что разбитое лобовое стекло и липкое сиденье останутся только её. Она наклонилась и сорвала ромашку. Понюхала. Ромашка пахла тем самым «важным».

«Любит-не любит-любит...»

Не досчитала, выбросила. Незачем. Ромашка с оставшимися четырьмя лепестками упала на землю. Аня шла дальше.

Завибрировал телефон.

«Привет. Я утром приехал. Так странно возвращаться. Валя позвонил, сказал, что меня уволили. А я обрадовался даже. Он не понял.

В поезде главу написал. Не знаю, что из всего этого получится. Посмотрим. Про людей писал. Завтра на пары пойду, первая – по современной литературе.

А ты как?»

Аня прочитала и улыбнулась. Грунтовка снова тянулась бесконечно вдоль разноцветных домов и печальных полей.

– Ань, ты идёшь? – позвала Поля. Её волосы светились на солнце, и вся она была лёгкой, пушистой, как ромашка.

Даня подарил Поле ромашки, потому что ромашки растут в полях. И так естественно дарить их кому-нибудь, кого ты...

– Иду!

Они гуляли до темноты. До одинокого фонаря у соседнего дома. Аня ощущала, как что-то важное и тяжёлое собиралось внутри, как туман ранним утром, как грозовая туча. Она посмотрела в небо, и небо смотрело на неё чьими-то знакомо-незнакомыми глазами.

Николай Демчук, 16, Ульяновск

«Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйти — надо человечью правду блюсть» (М. Шолохов «Тихий Дон»)



Крест

Май был особенно солнечным.

Я сидел на уроках. Звонит отец. Я судорожно сбрасываю — и урок, и времени совершенно нет. Надо учиться. Экзамены... Чёрт бы их побрал... И потом, что это за важный повод? Опять с матерью разругался. Это может и подождать. Не в первый и последний раз.

Они спорили постоянно. Спорили с тех пор... В общем, не очень хочется об этом сейчас говорить. Они чуть не разошлись тогда. Удержали недавно родившиеся близнецы. Решили помириться. Я до сих пор помню, как пришёл тогда из школы, застал безобразную сцену. Близнецы спали тогда, и разговор происходил шепотом. От этого он не становился лучше, а лишь приобретал в липком предательстве. Липком предательстве близнецов, мирно сопящих в кроватках. И ко мне. Ко мне тоже... Но я взрослый и я должен... Что должен?

Тогда я небрежно бросил портфель в прихожей и быстро прошёл в комнату. Через пять минут я выбегал из дома. Злобно лязгало железо на крышах, подстёгиваемое дождём. Небо проливалось на землю и покрывало глаза едва прозрачной пеленой. Не глядя, сквозь воду на лице, приобретающую вдруг приторно солёный вкус, набрал кого-то... Друга вроде. Через секунду сбросил сам. Это моё личное дело. Я должен справиться.

После звонка отца позвонила соседка деда.

Он умер. Три дня назад

Захар, старший из близнецов, подбежал как-то ко мне в своих коротеньких смешных штанишках и спросил:

— А засем мы сывём, плосто так?

— Не просто так.

— А засем тогда?

— Вырастешь — узнаешь.

И зачем я его тогда обманул?

Вернулся тогда домой через час. Немного другим человеком...

В перерыве перезвонил. Показалось, что земля и небо на секунду поменялись местами, а потом со страшным треском восстановили статус-кво. Смерть внезапно ввалилась в мою и без того не слишком счастливую жизнь, наглая, злая и бесформенная... Кое-как досидел уроки и позвонил соседке деда.

— Алло, Извиняйте, вы кто?

— Родственник Дмитрия Валерьевича.

— А, ваш папаша сказал, что вы приедете на похороны, как вас звать? — надо же: отцу наплевать на отца. Они всё время ругались, в основном по поводу политики. Дед ненавидел Перестройку, а отец — восхищался. Как только отцу исполнилось 18 лет, он немедленно съехал от родителей. Но когда родился я, молодому папе и маме требовалась помощь... Вот дед и помогал. Взамен родители не препятствовали деду видаться со мной. Сложно всё было. Отцу наплевать на отца, мне наплевать на него. Это насыщало мир размытой решающей неопределённостью.

Ответил.

— Лариса Семённа, что там с деньгами? — вопрос был неприятный. Я знал, что отец не даст на это дело ни копейки, точнее, мать не даст. А отец опять постесняется поспорить.

— Ну что вы! — Улыбка Ларисы Семённой, судя по интонации, увеличилась в размерах, — Во-первых, ваш дед кое-что оставил, во-вторых, священник придет бесплатно, Дмитрий Валерьевич занимался с ихним сыном, в-третьих, — если чего-то не хватит, мы поможем, золотой был человек — ваш дед!

Угрюмо согласился.

— Приеду завтра, — бросая трубку, сказал я. Я прикинул в голове, что я теряю (ничего, была пятница), позвонил подруге: пара слов и она всё поняла. Даже пожелала поехать со мной, но я отказался, причём наотрез. Она не обиделась, вроде...

Профессор физики, мой дед, обидевший чем-то университетское руководство, скоротечно съехал из города в маленькое село. Жил он в странной пятиэтажке, оставшейся от старого санатория, угрюмо возвышающейся над частными пёстрыми домиками. Писал статьи из дома, щурясь перед экраном компьютера. Этим и жил. Не бросал своё дело никогда, ни в девяностые, ни на старости лет сейчас. По квартире всегда были раскиданы листы с жирными, но красивыми формулами. Дед был единственным человеком, понимавшим меня. По крайней мере, мне так казалось время от времени. Он считал меня маленьким, даже сейчас, когда я выше его на целую голову. Но говорил как со взрослым даже тогда, когда я был действительно мало что понимающим малышом. Мы обсуждали книги и фильмы.

А еще мы ходили за грибами в маленький лес. Тяжелая, бесконечно чуждая живой массе леса асфальтовая дорога там делала петлю, будто приостанавливалась, давая проезжающим возможность выпить хоть глоток лесного воздуха.

Здесь существовала своя природная аксиома: на третий день после дождя вылезали грибы. Грибы самые разные, по сезону разумеется. Только белых не было.

От его дома до леса было около пятнадцати минут. Сначала тянулась длинная, повторяющая форму дороги лесополоса. Она была жидковата: приносимые с Волги ледяные дожди уничтожали нежные березы. Они покрывались толстой ледяной коркой и медленно задыхались в объятиях наступающей зимы. Потом долго стояли в берестовом корсете уже мёртвые. Позже ураганный весенний ветер доделывал своё дело.

Как это ни странно, там тоже попадались грибы, но грибы бестолковые, как говорил дедушка, мусорные. Рядовки или сыроежки.

И мы проходили дальше. Дальше тянулось поле, даже не поле, луг. Он отделял мир людей от мира... черт знает чего. И вот эта лесная громада рядом. Вблизи она не кажется громадой, лишь сеткой толстых и тонких деревьев. Огромные спутанные кроны погружали нас в зелёный загадочный полумрак.

Пока грибов не было. Мы переставляли длинные еловые сухие трости и беседовали. О Стругацких, например. Фантастика уносила нас куда-то выше и выше от суеты от школьных мелочей, от семейных неурядиц... Туда, где живут Быков и благородный дон Румата... Мы перечитали всех Стругацких от начала до конца и соревновались в этом знании, победа всегда оставалась за дедушкой. Каждая минута, проведённая за обсуждением фантастики, кажется, дарила более приятные мысли, чем вся остальная, такая грустная жизнь.

Заговорившись, мы иногда проходили мимо грибов, но ни о чём никогда не жалели. Наконец мы замечали одну-две заветные шляпки, и фантастика уступала место азарту.

Вот пошли грибы, сначала дубовики. Мне до сих пор кажется, что дедушка знал о грибах всё. Мы заходили всё дальше и дальше. В чаще лишь изредка глаз цеплялся за древние зарубки и таблички в этом большом "заброшенном" лесу. По дороге,

пробитой трактором неизвестно зачем, мы шли и шли, вбивая в мягкую сыроватую землю сосновые пружинящие трости, собирая редко разбросанные подосиновики...

Мы проходили мимо полуобустроенного места отдыха, это были лишь два относительно удобных пенька... Сидели там подолгу, отмахиваясь от комаров... А вообще, теория Эйнштейна неверная... Потом следовал извечный детский вопрос "почему?" А за ним сложный, физически непонятный ответ...

Часть грибов были съедены насекомыми. «От жары,» — сообщил мне дедушка. Я видел огромный дубовик, размером с голову человека. На нем копошился целый ворох жуков и прочей нечисти. Жалко... «Жалко,» — отозвался лес странным мягким эхом.

Мы перешли через ручей. Мелкий, но в лесу обладающий невиданной значительностью, как единственный источник воды, по крайней мере, мне так казалось. Там стояла бобровая плотина. Мы перешли через ручей в пяти метрах от нее, по огромному совершенно исполинскому стволу дерева.

За ручьём, будто замедляющим время, открывался ельник. Там, и только там, росли маслята, толстые, жёлтые, вкусные, но уже надоевшие грибы. Мы уже набили грибами рюкзак, но останавливаться не хотелось.

— Знаешь, мой дед с семьёй жили где-то под Рязанью.

— Где?

— Название деревни не помню. — на глазах дедушки блеснула заметная слеза.

— Жаль.

— Жаль... — тихо произнес лес.

— Мой дед солил маслята, — дедушка махнул ножом в сторону очередного маслёнка, — целыми бочками. У него рядом со столом обязательно стояла бочка. Я приезжал редко, но всё помню, — лес радостно зашумел, — он ел маслята и запивал их самогоном из большой бутылки.... Хорошо тогда было, я был маленький, как ты, лет двенадцать...

Однажды я отошёл от дедушки далеко, и его фигура скрылась в рябом пересечении стволов. И я остался наедине с лесом. Недовольно разгалделись птицы, всё зашумело под гнётом вдруг усилившегося ветра. Я, пытаюсь удержаться от паники, начал лихорадочно шарить глазами по стволам деревьев, которые сплелись в сложнейшую паутину. И я побежал. Ветки хлестали меня по всему телу, а на руках появились белые царапины. В какой-то момент казалось, что лес и вовсе превращается в обжигающую руки и тело под футболкой жидкость...

А потом я ткнулся в чёрный клетчатый рукав дедушкиной рубашки. Лес немедленно отступился, отдав меня дедушке. Когда обнял дедушку, то понял, что счастлив.

Только езда в автобусе может показать, как богата наша земля! На кочки и рытвины на дорогах в особенности. Я сел на 999 автобус и поехал. За проезд с меня содрали лишних десять рублей, да я ещё потерял тысячу; украли ли — не понял: совершенно не следил за собой. Впрочем, мне было всё равно. Старая газель, выкрашенная в автобусный синий, двинулась в свой скорбный путь. Рядом с ценами на проезд было нацарапано матерное. Наконец мне надоело, и я, воткнув в уши наушники, включил ГрОб, благо интернет позволял. Заиграл "Мишутка". Я уснул.

Разбудил меня удивлённый маршрутчик уже в дедовой деревне, у странного пятиэтажного многоквартирного дома, построенного непонятно для чего. И там жили люди. Маршрутчик никак не мог взять в толк, почему я вообще уснул в такой сумасшедшей тряске. Я как-то вяло отшутился и выпрыгнул на землю, которая действительно ещё минуты три упорно шаталась под моими неуклюжими ногами.

Я пошёл к единственному подъезду дома. Дверь подъезда закрывалась просто и элегантно: при помощи большого шлакоблочного кирпича. Я не успел даже свернуть кирпич с насиженного места, дверь распахнулась, и в темноте проступил

черный в цветочек длинный шелковый халат и его обладательница: немолодая женщина совершенно неопределенного возраста, стриженная под каре. С длинным неприятного вида носом. Она улыбнулась мне телефонной улыбкой и протянула хрупкую маленькую ручку большими накладными алыми ногтями (для чего?). Я не нашел ничего лучше, чем сжать ее до боли. Женщина лишь неопределенно хмыкнула и представилась:

— Лариса Семёновна, — телефонная улыбка не заставила себя долго ждать.

— О-о-о! так это вы! — Лариса Семёновна изобразила гораздо более правдоподобную улыбку. — вас уже заждались...

— Кто заждался?

Я вошёл в полутёмный, но почему-то опрятный подъезд. Человек десять всех возрастов стояло у рыжеватой дедушкиной двери. Какой-то ребёнок плакал. Они мялись у входа, не смея войти. Даже Лариса Семёновна почтительно замерла поотдаль, будто испугавшись двери. Я толкнул дверь.

Внутри сидела старушка и читала протяжным слабеньким голосом что-то из священной и потрёпанной книги. Она смешно выгибала слабую тщедушную шею, на которой покоилась уже лысеющая старушечья башка и смотрела вверх на красный угол, истово крестясь. Ее чёрный неопрятный платок то опускался, то поднимался.

От красного угла — одно название. В нем лишь висела иконка Сергия Радонежского, любимого дедушкиного святого. Бумажный Радонежский был прикреплен канцелярской кнопкой, которая, на удивление, никогда не отваливалась. На большом столе перед телевизором, где множество раз мы за едой смотрели фильмы, лежал он. Мой дед. На простеньком раскладном столе, у которого даже одна ножка шаталась, столешницу которого мы не единожды обливали супом, не уследив за тарелками... И там теперь лежал он. Пиджак деда как будто бы укрывал его всего, не давая вздохнуть и вырваться из объятий этого тяжелого забытья. Везде стоял какой-то тяжёлый запах тления или ладана, я так и не разобрался.

Я вошёл в его кабинет. Там оказалась дедова кружка с недопитым кофе. Все бумаги были сложены в стопки. Наверное, заботливыми старушками. Я сел на его стул и начал перебирать листы. Первый... Второй ... третий... Внезапно длинные формулы, интегралы и корни кончились. Я благоговейно смахнул со стопки последнюю страницу с вычислениями. Со следующей на меня смотрел космонавт. Космонавт, нарисованный какими-то прерывистыми неточными линиями. Он смотрел прямо, крепко сжав в руке какой-то прибор. В груди заныл какой-то необычайно важный, но неизвестный мне орган. Передо мной мелькали леса, города будущего, люди, космические корабли... Хотелось бросить эти рисунки и уйти подальше, но они не отпускали. Наконец, последний. Чистый лист. Я, негодуя, перевернул его... На меня смотрел синий задумчивый нарисованный обычной ручкой Христос с огромным нимбом, буквы на котором были смазаны. Глаза его впились в меня и заставили пролиться слезам. Они текли и текли по щекам, в какой-то момент они прыгали на бумагу. Я утирал их, уберегая рисунок, но скупые слезы все лились и лились... Наконец я остановил себя, схватил рисунок и выбежал из комнаты.

Процессия шла, долго выбивая из-под себя комья грязи, над полуразрушенной грунтовой дорогой неслась тихая молитва, мягко сливавшаяся с ветром, шумом ручья, то были любимые дедовы звуки. Я нёс гроб, он неумолимо давил на плечи, прижимаясь к земле, как будто желая забраться в могилу и не беспокоиться относительно его оболочки. Вся оболочка должна быть либо на земле или под землей. А душа.... С душой всё, как всегда, немного сложнее. Плечо затекло, начало болеть — мне было всё равно, тупая ноющая боль утраты сильнее. Вся футболка вымокла от пота и прилипла к телу, как тяжкий грех.

Между деревьями показались первые ограды и верхушки крестов. Вот мы уже идём между чужих могил, топча разметённые венки и пластиковые цветочные

букеты, сами несём новые. Но обернуться невозможно. Пришли. Могила была уже успешно выкопана. Мы наконец опустили гроб на глину рядом. Священник разложил походный аналой и достал книги в железном переплёте. Чего-то не хватало. Оказывается, забыли большой деревянный крест: каким образом его забыли, было не ясно.

Я вызвался его принести. У меня было около получаса, пока священник будет читать молитвы (отпевание уже прошло без меня). И я двинулся.

Крест был довольно тяжёлым, чёрным набухшим. Я примерился и взвалил его себе на плечи. Невероятная сила навалилась на меня. Идти все-таки можно. И я пошёл.

Тот же самый путь теперь казался длиннее, необъяснимо длиннее. Птицы теперь не пели, да и лес замер в каком-то молчаливом почтении ко мне, крестоносцу. Пот струился вниз, затекал под берцы, но я шел и шел, спотыкался. На крест внезапно приземлилась какая-то птица, я понял это по тени, на секунду закрывшей от меня солнце, я истошно заорал, и птица слетела, взмыв куда-то, полетев не то вверх, не то вниз... Куда-то... Тяжёлое потускневшее небо давило сверху... Тишина. Подул влажный ветер, задувая слезы обратно в глаза. Я сморгнул, пытаюсь избавиться от воды. Расплывался туманом взгляд. Внезапно я смутно увидел силуэт человека, идущего навстречу. Он кажется, даже махнул мне рукой. «Хотите я донесу за вас крест» — эта фраза хоть и не была высказана, витала в воздухе. «Кто вы» — так же мысленно спросил я. «Тот, кто совершает благо». Я наконец смог разглядеть его: жилистый невысокий человек в бордовом пиджачке шёл рядом, пытаюсь пристроиться ко мне, но мешал крест. «Вы наверняка устали нести его» — незнакомец косился на распостёртую громаду креста, — «Вам со мной всё равно по пути, давайте я помогу?» «Вы тоже на кладбище?» «Все мы в конечном итоге на кладбище» Незнакомец вдруг сверкнул зелёным глазом и вытащил из-под пиджака большую пластиковую бутылку с водой, — «хотите пить? Давайте вы попьёте, а я понесу.» «Нет, не хочу» — честно соврал я. «А что тогда хотите?» «Ничего из того, что вы можете мне дать» «Неужели? Богатство, самая красивая девушка, талант ко всему...» «А что взамен?» «Дать мне понести крест и маленькая такая формальность...» «Не надо. Деда вы всё равно не вернёте» «Нет, он, скажем так, вне моей юрисдикции» «Ну и шли бы вы тогда отсюда». Я поставил крест на землю, прижал его к себе и достал дедушкин рисунок из кармана.

Фигура исчезла. Я взвалил на себя крест и пошел дальше. Впереди уже виднелась ограда и самые высокие кресты.

Крест забрали у меня из рук. Я стоял на кладбище и тяжело дышал... Начались похороны.

Читались десятки, а то и сотни неясных скомканных молитв. «...А ведь мы никогда не разговаривали с дедом о Боге. Не то чтобы он ни во что не верил, верил... Но не разговаривали...» Потом я лупил со всей силы молотком, слёзы пылали перед глазами, кажется пару раз попал себе по пальцам... Наконец гроб заколотили, и четыре человека: я, какой-то мужик из деревни и два землекопа спускали на стропах гроб в могилу, я упирался в землю изо всех сил пытаюсь вызволить деда из объятий смерти. Потом помню лопату, погружённую на полный штык в землю, мокрую и жирную, я кидаю больной комок туда, вниз, где кажется и дна со гробом уже не было... Кидаю со всей силы, будто пытаюсь запорошить глаза смерти землёй, горсть на могилу, этой же грязной черной рукой со вздувшимися мозолями ем что-то такое, что положено есть только на похоронах, что-то простое, вязкое и вкусное...

Мне снится это каждую ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое мая. Дед. Да ему было за восемьдесят... Но... но...но... Нельзя это помнить... Каждый раз во сне я брожу по тому милому лесу и пытаюсь найти деда, я даже кричу. И просыпаюсь.



Варвара Рыбина, 17, Ульяновск

«Этого, конечно, маловато, сделанного, но всё-таки это сделал я» (М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)

Герой

Кабинет пронизан утренним солнцем и звоном ребячьих голосов. Возгласы приятелей птичками проносятся мимо Юриных ушей, не задерживаясь. Молодая женщина с мамиными чертами – в самом сердце чириканья и звона – нежно улыбается рядом с письменным столом, пока в сознании Юры, переливаясь на все лады, звучит заданный ею вопрос: «Дети, кем вы хотите стать, когда вырастаете?». Юра знает ответ чётче собственного имени и это знание жжёт его изнутри, как жгут глаза слепящие полосы на исчерченном солнцем потолке.

Кем он хочет стать!

Он хочет нестись на коне, устремив взгляд в бескрайнюю даль – туда, где к розовому небу вздымаются полосы дыма, похожие на следы копоты. Ещё несколько часов езды, и взгляду должна открыться стоянка вражеских войск. Лошадь хрипит от усталости. Юра оборачивается к веренице скачущих за ним серых фигур, и его решительный, крепкий голос раздаётся во всю степь: «Вперёд, товарищи! Ура!» И закат окунается в громогласное и рассыпчатое «Ур-р-р-а-а-а!»

Он хочет красться по переулкам ночного Ворошиловграда, сжимая в горячей ладони пистолет, приготовленный партизанской организацией для убийства назначенного немцами «бургомистра». Через два осунувшихся дома – штаб фашистского командования, и Юре нужно добраться до него раньше пения первых петухов. В скрюченной избушке на окраине города спят сестрёнка и уставшая за дневную смену мать; если всё удастся, обе не узнают о том, где он пропадает. В ином случае Юру ждёт запах рвоты в немецких подпольях, следы от ударов, алые на мокрой спине, и пара полных презрения слов, выплюнутых в морды мучителей, – он не успеет увидеть залитого слезами лица матери, но будет уверен: та знает, что Юра умирает за отечество.

Он хочет выходить из похрустывающего пламени, чумазый и ещё чувствующий за спиной жаркое дыхание огня, – под мышкой бьётся трепещущий комочек детского тельца. Юра бережно опускает девочку на чёрную от пепла землю. «Чьих будешь?» Ребёнок бормочет на незнакомом Юре языке и прячет глаза в ладошки, но остаётся на месте. Немецкая девочка. Он солдат – защитник – и не мог бы оставить её задыхаться в дыму. Он возьмёт сироту с собой, научит родному языку и расскажет, что такое добро и почему оно прекрасно. Совсем не ради того, чтобы фамилию Юрия Сидорова повторяли в каждом доме от чернозёмных полей до земель вечной мерзлоты. Ему не нужна личная слава. Ему достаточно славы Родины.

Одним словом – он хочет стать героем.

Женщина с мамиными чертами наклоняет голову, и родные глаза – тоже совсем-совсем мамины – ласково обращаются к Юре.

– А ты? Кем ты будешь?

Её лицо расплывается, как под толщей воды. Юра, подрагивающий от жажды наконец ответить на заветный вопрос, голодной птичкой раскрывает рот, но картинка перед глазами распадается прежде, чем он успевает произнести хотя бы слово. Вокруг больше нет места свету и чириканью.

Пустота. Боль. Запах крови. В висках пульсом стучит чужой голос, а голова гудит так, будто расколота надвое. Мир сжимается до мучительного ощущения тяжести

собственного тела, неудобства жёсткого матраса и резкого, отчётливого голоса подполковника Федоренко, задающего один и тот же давно осточертевший вопрос:

– Кем ты будешь?!

Сержант Сидоров силится разжать веки, но темнота окутывает его слишком плотно, чтобы беспорядочность плавающих в пространстве пятен сумела собраться в конкретные образы. Язык липко скользит в горле, как инородное тело.

– Погеройствуй ещё – кем будешь? Изменником? Предателем Родины? Отвечать!

Он сжимает липкие от жажды зубы и пытается сглотнуть, чтобы последовать указанию, но из горла вырывается только едва слышный хрип.

– Отставить нарушать приказы! Всё решено. Всё продумано. Цель укрепить – ты куда прёшь? В деревню! Вдруг засада? Или ты умнее всех? Отвечать!

– Н-никак...

– Отставить!

Тёмное пятно перед глазами Сидорова расплывается, как кровоподтёк, а голос дробит сознание чередой игольных уколов. Осколки происходящего впиваются в кожу с болезненной, обрывной ясностью, и ему едва удаётся осознать установившуюся в палате смятую тишину. Когда подполковник заговаривает снова, слова ощущаются её продолжением.

– Эй. Слышишь?

Он встряхивает отяжелевшую от боли и бинтов голову, чтобы кровоподтёк вновь обрёл форму пузатой солдатской фляги. На месте крышки предполагается голова подполковника, но Сидоров, в плотном сером тумане, не может знать этого наверняка.

Молчание.

– Юр. Я же понимаю. Ребёнок, не виновна, спасти надо. А зачем? Подумал? Кому легче-то? Совесть чиста станет? Одну вытащишь – таких сколько. Сирот, таких же. Иди, спасай. Или ты героем быть хочешь? А она? Что, ей лучше будет? Родных не сыщешь. У нас чужая. С собой взять – куда? Юр, приказы не от балды же. Знают, что говорят. Ты солдат, Юр. Ты жизнью жертвуешь: своей, чужой. Не просто так. За дело ведь. За мир. Везде мир будет. Детям подарим. Девочкам таким же. Нашим, их – всем девочкам, во всём свете. Каждой. Понимаешь?

Он не понимает. Стук крови в ушах вытряхивает из головы ошмётки мыслей. Сидоров пытается открыть рот, чтобы заполнить тишину формальным «Так точно», но его опережает чуть слышный стон – скрип двери. Крышка подполковника обращается в сторону порога.

– Вот. Твоя. И куда её...

В дверях стоит девочка, подобная встрёпанной пташке – игрушечная фигурка с обмотанной бинтами головой, – и он понимает, что должен сказать что-то важное, что-то имеющее значение куда большее, чем запах крови, жёсткая больничная койка и голос подполковника Федоренко, но не может отыскать нужных слов, выделить из сотен тысяч необходимые. Вспоминается лишь дурацкая слышанная им когда-то в детстве фраза – и он говорит:

– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?



Дарья Кулешова, 16, Воронеж

«Буду предельно тихим.

Очень Тихим.

И все-таки —

океаном!»

(Р. Рождественский «Или Тихий, или Великий...»)

Берега

Его звали гулять, звали грызть корки арбуза после обеда, звали, когда кто-то ходил у забора и было особенно страшно.

Я звал его пёс. Он не звал меня, и я приходил к нему сам, трепал за холку, опускался на корточки и смеялся, смеялся, когда он утыкался мокрым носом мне в щёку, и он фыркал, наверное, смеялся в ответ. Мне было лет десять, ему несколько меньше, но я всегда ощущал себя младше и мельче него. Стоило мне подумать о некоторых глупостях, он сочувственно смотрел на меня и, виляя хвостом, бежал за мной. Мы бегали в одну сторону, бегали один за другим, но никогда — друг от друга. Бегать у него тоже получалось лучше моего, но я не обижался, а только хвалил и давал руку, а он мне — лапу в ответ. Нас объединял общий дом, общий мир и одно на двоих место возле реки. Когда мама отправляла меня на лето к бабушке, я с радостью соглашался, но улыбался украдкой, ведь ехал не в гости к ней, а домой, в жизнь. Я знал, что дед будет ждать у забора, обрадуется гудку подъезжающей машины, что легонько ударит меня по плечу и спросит, хорошо ли я учусь и много ли успел нахватать троек, хотя прекрасно знает, что на дворе лето, школа закрыта, а из дневника уже давно вырвана нежелательная страница. На кружевной скатерти будет стоять сок: вчера бабушка набрала яблок, а дед ворчал, но крутил их.

Бабушка поправит на мне помятый воротник рубашки, тихонько вздохнёт, глядя на сбитые коленки, и позовёт к столу, который стоит на улице, под навесом, прячущим нас от палящего солнца. Наверное, в этом мире нет ничего надёжнее, чем деревянная солонка с «вкусной солью» и старый, чуть треснувший чайник с пчёлками, который закипал с глухим, ленивым ворчанием. Я буду пить чай, обжигая пальцы о гранёный стакан, смотреть, как в него падают и тонут в чае солнечные зайчики. Дед, прищурившись, посмотрит в небо, на верхушки старых яблонь, словно сверяя с ними ход каких-то своих, невидимых часов, и скажет, что к вечеру точно соберётся гроза. Но грозы не будет — будет только бесконечный, плавающий от зноя день, который, как мне тогда казалось, никогда не дойдёт до своего финала. В саду тихо летают бабочки, снуют стрекозы. Всё движется, переливается, растёт и уменьшается одновременно, время тянется, как жвачка, и лето щурясь, улыбается.

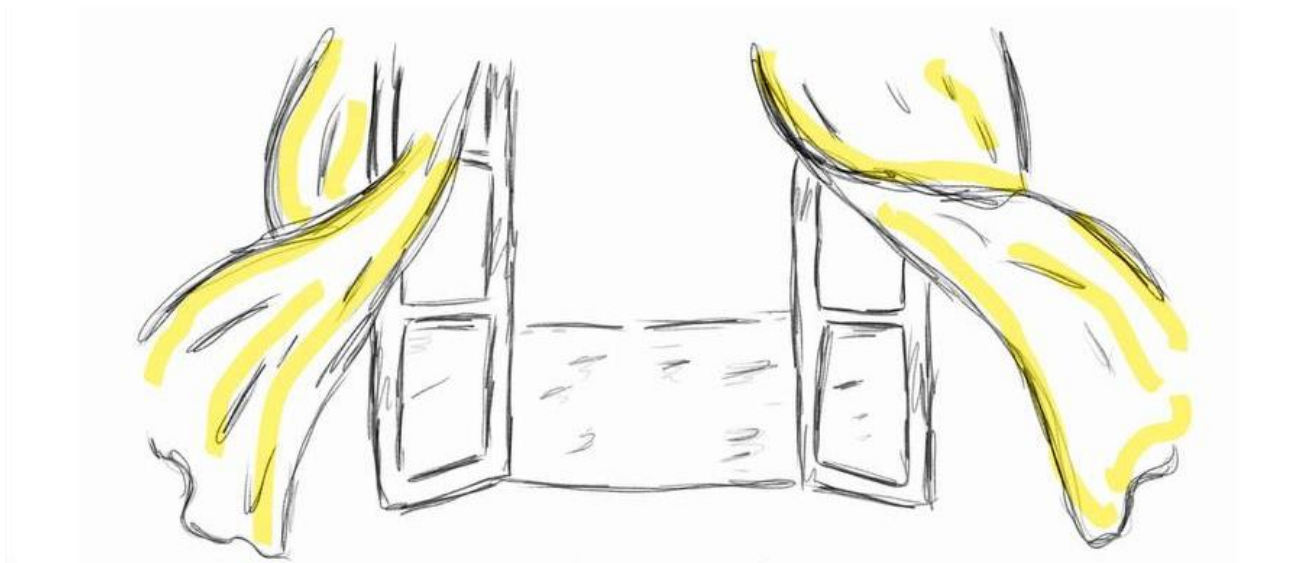
В домике пахнет лавандой, в комнате тепло и тихо, картина «Опять двойка» на стене покосилась. Надо бы приколотить гвоздь и повесить ровно, но это потом. Сейчас на кухне пахнет пирожками, дед копает картошку, а на улице меня ждёт пёс, а лето ждёт нас и совсем не торопится, а вот нам надо бы поторопиться, скоро закат и на реку потянутся отдыхающие. Мы бежим на наше место, оно тоже ждёт нас с прошлого лета. Вот и закат. С моста прыгают люди, их легко рассмотреть, если захотеть, легко расслышать разговоры, если постараться, я их помню, я их знаю. Я с ними. Я их часть. Я вместе прыгаю и смеюсь, но я меньше них. Надо бы немного дорасти, подтянуться повыше, вырваться.... Что-то больно кольнуло в груди, но быстро прошло и свинцовая тяжесть налилась где-то в ногах, в корнях, в начале. Там, внизу, оставались скатерть, и сок, и картина, и пёс...

Много лет подряд проворачивался мир, косой дождь бил в окно, и замерзала река за окном, и ежедневно я уходил дальше от окна, от реки, от скатерти и сока, от пса, и вот опять настал июнь. И я сделал гудок машиной, подъехав к воротам. Я привёз сок, на этот раз вишнёвый, и новую клеёнку. Чайник тоже новый купил, белый, без пчёл. Навес совсем раскололся, в нём появились дырки, и через них выглядывали хмурые тучи, бликами сворачивались и оседали на дно чашек, и мне сделалось неприятно, почти обидно, поэтому обедал я в доме. Прошёл в большую комнату. Там было зябко и совсем ничем не пахло... А должно было? Приколотил картину «Опять двойка». Задумался, когда я последний раз получал двойку. Не вспомнил. Дневник выкинули много лет назад, и моими оценками никто не интересуется. Дед пьёт пакетированный сок в городе и почти перестал ворчать, бабушка решает кроссворды, да и я давно не разбиваю коленки. Но кто же... ведь кто-то был, кто-то очень важный, кто был старше и быстрее меня. В глазах помутнело, внутри что-то шевельнулось и больно кольнуло, но быстро прошло. Никак не могу вспомнить.

Солнце грустно заглянуло в окно. Скоро закат. Побежал на моё место, к реке. На середине дороги закашлялся, оглянулся, оправил брюки и пошёл пешком. Я никогда не умел бегать. А бегал ли когда-то вообще?... Подойдя ближе к реке, я присел на покосившуюся лавочку и взглянул на розовые облака. Послышались чьи-то голоса и всплески. Когда-то я уже слышал это. Я прищурился и устремил взгляд туда, где оставил что-то дорожное сердцу, то, что сворачивалось клубком и ноющей болью напоминало о себе.

Горячие загорелые тела сигали с моста в тёплую воду и растворялись в ней, вторя уходящему солнцу. Смехом заглушали всплески, они были честны перед своими отражениями и вольнее, кажется, самой жизни. Их никто не знал и не видел, кроме, пожалуй, одного старого рыбака, проходившего вдоль берега. Он пошутил что-то про свободу и скрылся в зарослях камыша. Если бы он задумал разглядеть их лица, ему бы это не удалось. Так далеко и отстранённо они сидели, что, пожелай дотронуться до них рукой, это непременно получилось бы. Так не похожи они были на кого-то, что походили сразу на каждого. Их смех был таким громким, что перебил бы все шумные волнения молодого сердца, но, задумай цикады перекрыть его, это не составило бы труда. Они никому не принадлежали, их никто не ждал, но они исчезнут вместе с последним бликом закатного солнца и больше не появятся здесь. Они никогда не возвращаются на те же места, не поют те же песни. Созданные печалью и воспетые жизнью, им мало этого мира. Они в нём проездом, мимоходом, на время. Вот они затянули первую и единственную мелодию на прощание.

Слышишь?



путешествие

с

текстом

«Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть» (А. П. Чехов)

Язык дыхания

Главным достоинством короткой прозы является способность автора заключить в ограниченном пространстве множество тем и смыслов. С этой точки зрения «Бумажный зверинец» Кена Лю представляет собой психологическую драму, в которой элемент фэнтези выступает важным художественным инструментом. Автор прибегает к параллельной композиции, сталкивая в тексте разные эпохи и культуры – Америку и Китай. Детские воспоминания героя о созданных матерью бумажных животных переплетаются с реальностью американской повседневной жизни, где Джек сталкивается с расизмом и давлением сверстников. Этот контраст воплощается в конфликте между игрушками, где оживший тигр из бумаги Лаоху противостоит пластиковой фигурке Оби-Ван Кеноби. Когда к Джеку в гости пришел соседский мальчик, то Лаоху, как показалось герою, прыгнул на фигурку Марка и сшиб ее со стола. Это становится метафорой культурного отчуждения, при котором мальчик отказывается от самоидентичности. Это отвержение демонстрируется в эпизоде, где Джек, после насмешек Марка, требует готовить ему только американскую еду, прячет оригами в коробку, переходит на английский язык в общении с матерью и запрещает ей говорить на китайском, после чего: «...она выглядела как водный буйвол после того, как Лаоху поймал его и выдавил весь воздух».

Спустя годы письмо матери, написанное на китайском, открывает Джеку её трагическое прошлое. Бытовой расизм, от которого главный герой пытается спастись в США, добровольно отказываясь от своей культурной идентичности, переплетается с китайской идеологией Культурной революции. В XX веке события уничтожили семью матери и лишили её будущего в своей стране. В тоталитарном Китае Культурная революция насильственно устраняла старые традиции, заставляла людей отказываться от близких ради выживания. В капиталистической Америке то же самое происходит с Джеком через социальную изоляцию и школьную травлю. Парадокс заключается в том, что мальчик, пытаясь защититься от нападок общества, добровольно перенимает методы угнетателей своей матери. Он становится «палачом» культуры в своей семье, требуя, чтобы мать замолчала и не говорила по-китайски, тем самым бессознательно повторяя действия «хунвейбинов».

История с игрушками прямо мотивируется детским воображением и общим языком матери и сына. Тот же самый мальчик-сосед, который приходит к Джеку, с пренебрежением относится к его игрушкам, критикует их и не видит всего того, что видит Джек. Эта связь подчеркивается китайской концепцией «ци» – жизненной энергией, которую мать буквально вдыхает в бумагу, чтобы превратить ее в зверей,двигающихся не от волшебства, а от дыхания, что делает оригами воплощением любви. Когда эмоциональная связь рвётся, энергия «ци» будто исчерпывается, игрушки больше не шевелятся: «Бумажные звери не двигались. Может быть, магия, которая оживляла их, ушла, когда умерла Мама. А может быть, я просто нафантазировал, что бумажные фигурки могут оживать. Детским воспоминаниям нельзя доверять».

Однако в праздник Цинмин, день поминовения усопших, Лаоху оживает сам по себе, чтобы привлечь внимание Джека. Потрёпанный тигр превращается в лист бумаги, на котором помимо основной истории матери иероглифами написано: «Животные не будут двигаться, когда я умру... И если ты будешь думать обо мне в

Цинмин, в день, когда духи умерших могут навещать свои семьи, то ты дашь возможность этой части опять стать живой. Игрушки, которые я сделала для тебя, снова начнут прыгать, бегать и охотиться, и, может быть, тогда ты прочтёшь мои слова».

Кен Лю выстраивает финал с явным расчётом на эмоциональный отклик читателя, прибегая к банальному приему – смертельной болезни матери. Для сюжета это удобный повод, чтобы быстро подвести историю к развязке. Но неотвратимость смерти героини заложена в самой её художественной природе. В тексте она лишена имени и не укоренена в американском мире. Она существует как символ уходящей культуры. Смерть матери становится логичным финалом её затянувшегося одиночества. Кен Лю показывает, что ей было тяжело с самого начала жизни в Америке. Она годами терпела изоляцию, расизм и молчаливое отвержение со стороны собственного ребенка, из-за чего просто не обращала внимания на своё здоровье и не шла к врачам до тех пор, пока болезнь не стала неизлечимой. Рак здесь – это следствие того, как Джек своим стыдом и равнодушием годами стирал её из жизни. Прямолинейность финала не оставляет пространства для самостоятельного поиска смыслов.

«Бумажный зверинец» оказывается напоминанием о том, к чему приводит потеря культурной идентичности. Поддавшись давлению общества, Джек отказался от родного языка и наследия своей матери и в итоге из-за глупого стыда потерял самого близкого человека. В эпоху глобализации многие люди точно так же стыдятся своего происхождения, традиций или акцента, пытаясь всеми силами стать как все. Рассказ Кена Лю показывает, что за такое стирание собственного «я» всегда приходится платить высокую цену.



«Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После неё остаётся только пепел? Ну что ж...» (М. Горький «Карамора»)

Чужое пламя, чужое прощение

Как вновь обрести смысл жизни, когда смерть подкрадывается все ближе? Представьте: технический прогресс бежит вперед, вытесняя вас из привычного мира. Все вокруг буквально кричит о том, что ваш век окончен, и вы, пусть и в тайне от всех, но уже готовы умирать. Апатичная картина, не правда ли? Но все меняется, и враги становятся спасателями...

Такой сюжет разворачивается в рассказе чукотского прозаика Юрия Рытхэу «Хранитель огня». Писатель вырос в семье охотника, что отразилось в дальнейшем творчестве. Его тексты специфичны и часто носят национальный характер, посвящены теме взаимодействия традиции и цивилизации. В этот ряд вписывается и «Хранитель огня», написанный в 1977 году и опубликованный в сборнике о судьбе северного народа и связи человека с природой «Когда киты уходят».

Название текста «Хранитель огня» задает его лейтмотив: смысловой стержень произведения, повторяющийся на всех уровнях образ. Здесь им, очевидно, выступает огонь. Но как он раскроется? Станет символом трагедии, людским помощником, носителем священного знания или спасателем жизни? Это зависит от того, кто же в итоге станет его хранителем. Здесь вам предлагается небольшая игра: понаблюдать за текстом и попробовать сделать свои предположения.

Уровень 1: тени уходящей эпохи и лица нового мира

Главная цель игры – понять, кого же автор наделил статусом хранителя огня. Вашему вниманию представляется довольно узкий круг героев, действующих в развитии сюжета. Центрирование происходит на образе пожилого охотника из древнего рода кереков Кэвэва, который с начала текста становится олицетворением «уходящей эпохи». По старым обычаям он уже много лет заготавливает березовые дрова для погребального костра. Но время идет, традиции угасают. Если раньше разные народы соблюдали свои ритуалы: собирали смертные узлы, наряды, то теперь на первый план выходит одномоментность бытия. Обычаи перестают почитаться, эпоха уходит, и с этим сталкивается Кэвэв лицом к лицу. Про род и его традиции никто не знает, в лесу, где он живет, начинают строить новую автомобильную дорогу, а его священные дрова приезжие используют для приготовления пищи, не спросив разрешения. Сам он теперь чувствует себя беспомощным и неспособным действовать, ведь даже шаги становятся «кривой линией следов». При этом вокруг все та же лесотундра с теми же законами природы, которую пытаются разрушить бессмысленными постройками. Что для людей очередная новая дорога пустота? Ничего. Что для коренного жителя этой местности лес? Все. Пространство статично, изменяется с течением времени только Кэвэв. Старик уже давно чувствует приближение смерти и готовит все необходимое для ритуала, но никому не говорит. Рытхэу выстраивает вокруг героя ареол зыбучей безвыходности: агрессивный мир вытесняет Кэвэва, у которого и так нет ни сил, ни возможности сопротивляться. Он лишь импульсивно возмущается и быстро прощает «обидчиков».

Ему противопоставлены участники строительной группы Петрова, приехавшие прокладывать дорогу через лесотундру. Они яркие представители нового мира, полного энергии и амбиций, но вместе с тем упрямства и беспринципности. Герои не

знают ничего об обычаях общества, в которое вторгаются, но при этом раскаиваются в содеянном и помогают Кэвэву восстановить запас дров. Образы двойственны: их нельзя как полностью оправдать, так и излишне порицать.

Все это – отражение жестокости настоящего времени, которое не щадит тех, кто не умеет под него подстраиваться. Рытхэу создает атмосферу борьбы во внутреннем мире Кэвэва: он может сдаться и претерпеть все лишения нового мира, а может пойти на уступки и переродиться. Но что он выберет и будет ли этот путь правильным для него?

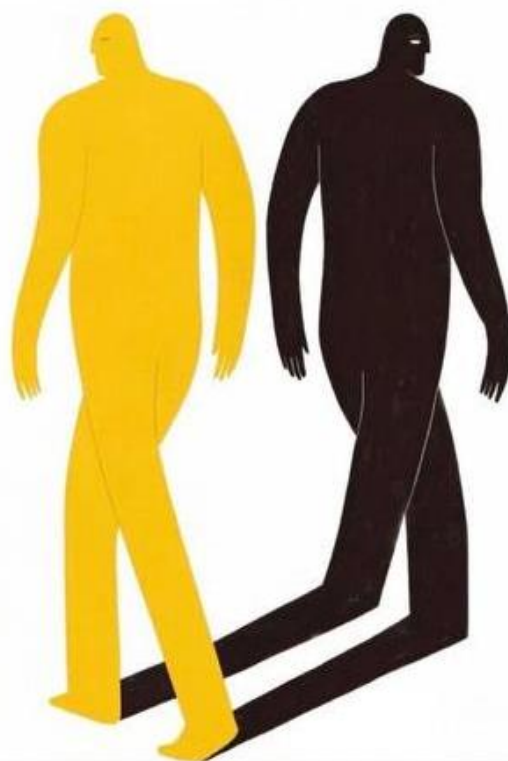
Уровень 2: земля, которую подминают под себя

Чтобы сделать правильные выводы, важно понимать время и пространство, в которых развивается сюжет. Рытхэу оставляет свободу в определении периода: по подробностям мы можем лишь догадываться, что действие происходит зимой, судя по всему, в непростой период, раз бригада приехала на работу. Пространство же определяет законы устоявшегося мира, которые идут на слом. Лесотундра – территория, где всем руководит природа, а Кэвэв «чуткий, как тугая тетива лука» – ее естественный обитатель. Этому соответствуют и его народные верования. Лес – сакральное место, граница «своего» и «чужого». Группа Петрова врывается в эту идиллию, доказывая, что в новом мире всеобщего технического прогресса нет ничего святого: все можно подчинить своим целям. Время проникает в это пространство и словно замедляется: отсутствие точной датировки становится указателем абстрагирования. Есть лишь две подробности: в первый раз Кэвэв восстанавливает запас дров за три дня, затем – за два. Вы не встретите других временных характеристик, что создает ощущение того, как за небольшой период герой проходит целую эволюцию личности. И это вызывает диссонанс.

Уровень третий: дар от врага: как перехватывают огонь

Сюжет развивается по линейному принципу, но в нем можно заметить черты календарного рассказа: трехчастную композицию и традицию «чуда». Так, Кэвэв действительно проходит все три этапа: кризисную ситуацию, переворачивающее сознание пиковое событие и нравственное преображение. Сначала Рытхэу показывает, что герой находится на грани существования, во всеобъемлющей апатии. Разорение погребальной поленницы – кульминация, которая подталкивает его к границе жизни и смерти. Но старик прощает строителей, начинает делиться дровами в каждый их приезд, ведь «живым нужнее». Он все еще ощущает себя почти что мертвым, но здесь и происходит слом мироощущения. Это изменение становится тем самым чудом для героя, благодаря которому он находит повод существовать. Более того, когда Петров предлагает Кэвэву должность хранителя огня, старик на нее соглашается. Несмотря на осознание скорой смерти, герой «так и живет до сих пор на границе тундры и леса», наполнив свое существование смыслом. Цель писателя проста: показать, что свое предназначение можно найти в любой ситуации.

Да, Кэвэв получил статус Хранителя огня, но дарован ему он был чужаком Петровым, который, по сути, перехватил руководство, вторгшись в



обыденную жизнь тундры и получил прощение за свое распоряжение о сжигании погребальных дров. Это можно расценивать как разрешение на дальнейшие действия в пространстве леса. Кэвэв подчинился и тем самым передал права представителям нового прогрессивного мира, а его должность может быть лишь побочными словами, не определяющими настоящей власти. Автор, скорее, склоняется к тому, что “переродившийся” внутренне старик по праву называется хранителем огня, потому что он в его судьбе проходит сложный путь от символа смерти к символу жизни. Для читателей вопрос о настоящей победе над стихией все еще открыт. Кто же правит огнем? Тот, кто всегда был частью природного мира и следовал его заповедям или тот, кто сломал систему под себя? Так и сам образ Кэвэва сохраняет парадоксы. Вы наблюдаете за героем, которого фактически прогнали со своей территории, но позволили остаться ради служения новой эпохе. Которого опустошили и перекроили его внутренний мир в появившейся оболочке. Кэвэв мертв внутри, но продолжает свое пограничное существование, цепляясь за новые смыслы жизни и попытки удержать воспоминания о прошлом, которого больше нет и не будет. Как и привычного мира.

«Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость» (Л. Толстой «Война и мир»)

Обещать — не значит жениться

Когда открываешь современную подростковую прозу, всегда есть риск наткнуться на одну из двух крайностей: либо это будет поучительная история, либо попытка взрослого автора надеть маску «своего в доску». Повесть Анастасии Морозовской «Обещала» дает возможность заглянуть под слой тонального крема, который бессилён скрыть синяки на лице подруги, и взглядеться в собственное бессилие перед несправедливостью мира. Но, как точно подмечает автор, в жизни есть вещи, требующие честного и болезненного разговора.

Первое, что встречает читателя и сопровождает на протяжении всего текста — иллюстрации. Признаюсь, сначала эта мрачная штриховка Анастасии Зюльмановой показалась мне лишней. Зачем в нормальной книге эти каракули, которые здесь ни к чему? Но постепенно до тебя доходит: эти наброски — проекция внутреннего состояния Тони. Морозовская использует сильный прием: когда слова застревают в горле комом из-за обещания молчать, на помощь приходит рисунок. Штриховка становится единственным легальным способом выплеснуть боль и страх, которые нельзя доверить даже чату «Брови деда» (формат переписки здесь, к слову, выглядит очень органично). Читать становится по-настоящему интересно именно в те моменты, когда ты начинаешь воспринимать каракули как «второй язык» героини, где плотность линий говорит гораздо громче, чем любая реплика.

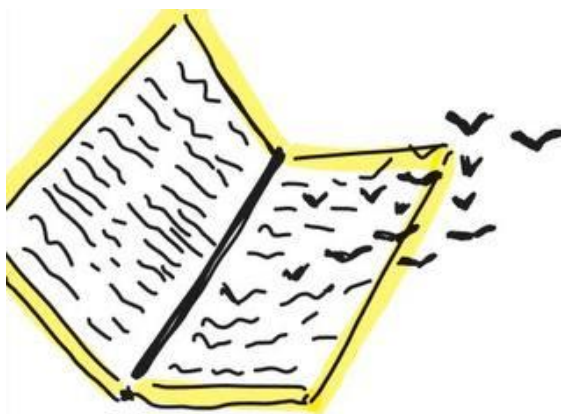
Одной из самых точных деталей стала фамилия Даши — Римденек, что в переводе с белорусского означает «свинья». Если рассматривать в связке с тем, что Даша хрюкает, когда смеется, — то перед нами зооморфная метафора. Даша в истории — не манипулятор, а ребенок, оказавшийся в центре домашнего ада. Ее «хрюкающая радость» — это попытка зацепиться за «нормальность», когда мир вокруг рушится. Она не знает другой жизни, ведь отец внушил ей, что мать — «плохой полицейский». Именно поэтому фамилия, в сочетании со звуком смеха, придает образу Даши особую незащищенность. Но, если смотреть на Римденка глазами Тони, то фамилия приобретает другое значение: она вносит хаос в жизнь главной героини, очаровывает и одновременно отталкивает. Связка фамилии и звука придала образу Даши некую двойственность, после её поступка. Это блестящий ход автора показать нечистоту ситуации через такие, казалось бы, бытовые мелочи.

Говоря о речевой характеристике персонажей, нельзя не заметить некоторую искусственность. Морозовская явно старается передать живой диалог друзей, однако фразы героев местами выглядят слишком надуманными. Как подростку мне смешно видеть эту показную лексику, будто подслушанную из плохих фильмов о «крутых тинейджерах», которые сняли взрослые для взрослых. Мы не разговариваем так постоянно, поэтому ощущаем стилистический диссонанс.

Чем действительно цепляет «Обещала» — это концовкой. Анастасия Морозовская не дает простых ответов, оставляя пищу для размышления. Вроде бы всё наладилось, а вроде и нет. И в этом заключается самая большая правда книги. Подростковая жизнь — сплошная неопределенность, где нет финальной точки и обязательного хеппи-энда. То, что автор оставляет читателя в подвешенном состоянии, делает историю наиболее правдоподобной.

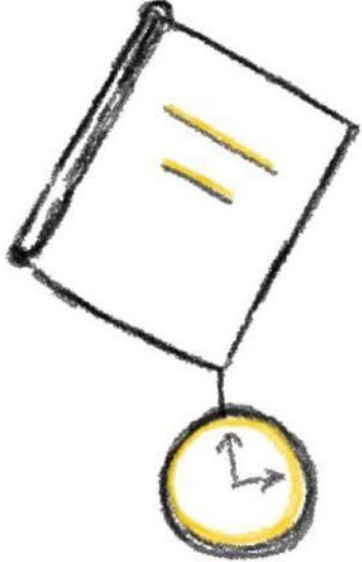
Эта книга для тех, кто хоть раз чувствовал, что чужие секреты тянут на дно. Она не даст «готового рецепта», но поможет осознать свою субъективность. Книга «Обещала» – это честный разговор о том, как важно не потерять себя, сопереживая другому.

Как ученица психолого-педагогического класса я вижу в повести огромный потенциал для практического применения. Это готовый кейс для будущих педагогов и школьных психологов. Книгу стоит использовать как пособие по распознаванию домашнего насилия и созависимости. Она наглядно показывает, что за фразой «я обещала» может стоять не верность дружбе, а опасная ловушка. Мне было важно понять, как через художественные детали автор передает внутренний конфликт человека, влияние друзей на детскую психику и роль родителя в жизни ребенка.



Я
покажу
вам
книгам





Елизавета Жерельева, 15, Новотроицк

*«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни» (Ф. Достоевский
«Братья Карамазовы»)*

Дневник обратного отсчета

Представьте, что вы читаете текст, в котором слова путаются, а мысли спотыкаются о собственную простоту. Вы чувствуете лёгкое раздражение от примитивности слога, но что-то заставляет вас перевернуть страницу. Спустя некоторое время, вы оказываетесь внутри сложнейшего философского рассуждения. А ещё через время буквы снова начинают плыть перед глазами. Это не сбой в матрице. Это «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

На первый взгляд перед нами научная фантастика: учёные проводят эксперимент на белой мышке по имени Элджернон, а затем на человеке – тридцатидвухлетнем пекаре Чарли Гордоне с низким коэффициентом интеллекта шестьдесят восемь. В одночасье добродушный ребёнок в теле взрослого превращается в гения. Но жанр здесь – лишь блестящая обманка.

По сути, это самая честная психологическая драма о цене человеческого достоинства. Дэниэл Киз, работавший учителем в школе для детей с особенностями развития, взял за основу историю про мальчика, потерявшего приобретённые знания. Он создал «Цветы для Элджернона» – текст, где главным инструментом выступает не содержание, а сама форма.

Автор пишет дневник. Он отдаёт повествование самому Чарли, и роман становится его живым голосом. Мы слышим, как этот голос взрослеет, учится иронии, цитирует Платона, а затем он снова начинает заикаться и путаться в падежах.

Хронология записей здесь работает как метроном, отбивающий время чужой жизни. Погружаясь в эти датированные отчёты, мы перестаём быть читателями – превращаемся в безмолвных участников произведения. Формат дневника переводит роман в разговор о цене эмпатии, границах науки и о том, где заканчивается эксперимент и начинается трагедия человека.

Крючок, на который Киз ловит читателя, – эволюция языка. По тому, как именно Чарли строит фразу, мы безошибочно диагностируем его текущее состояние. Пока синтаксис состоит из простых, рубленых предложений, а орфография выдает ожесточённую борьбу за каждое слово, мы чувствуем физическую тяжесть его мысли. Но как только Чарли интеллектуально «взлетает», меняется его лексикон. Вместе со сложными конструкциями и философскими цитатами в текст врываются едкая ирония, холодная отстранённость и почти невыносимая ясность ума.

В начале дневника Чарли пишет: «У меня будет ум как у других людей». Мы, читатели, подсознательно чувствуем свое превосходство. Нам хочется поправить ошибки автора, объяснить ему, как устроен мир. Мы смотрим на него сверху вниз. Затем интеллект Чарли растёт. Исчезают орфографические ошибки, синтаксис усложняется, появляются отсылки к Платону и Ницше.

И в этот момент происходит страшное: мы теряем чувство превосходства. Чарли становится умнее нас. Он начинает видеть фальшь коллег, холодную расчётливость учёных, которых интересуется только научная



сторона эксперимента. Фамилия главного героя – Гордон – созвучна со словом «гордыня». По мере роста IQ, он теряет ту самую человечность, которая делала его счастливым до операции.

Если присмотреться внимательнее, пространство романа сосредоточено преимущественно во внутреннем мире Чарли Гордона. Чем дальше мы читаем, тем больше примеряем на себя судьбу героя. Время в начале дневника тянется медленно, так как Чарли пишет с трудом, в середине – летит, в конце – замедляется вновь. Касаемо пространства, стоит отметить, что рост интеллекта приходится на весну. Лето становится периодом максимального расцвета и вершины способностей Чарли. Интеллектуальное снижение и возвращение к прежнему уровню приходится на осень.

Группа учёных и учительница Чарли – Алиса Кинниан – второстепенные, но важные фигуры. Отношение исследователей к Чарли и Элджернону заставляет нас еще раз задуматься о проблематике гуманизма и научной этики. Эти персонажи представляют академическую сторону эксперимента, который проводится над Чарли. Они стремятся к успеху своего исследования, часто забывая о чувствах и переживаниях самого героя. Белый мышонки Элджернон – двойник Чарли – «зеркало». Его судьба предвещает судьбу главного героя. Оба проходят через эксперимент, оба испытывают стремительный рост интеллекта и его столь же быстрое падение. Отношение главного героя к мышонку отражает внутреннее желание Чарли – он хочет, чтобы с ним обращались не как с результатом исследования. Именно привязанность к Элджернону пробуждает в Гордоне сострадание, а гибель зверька становится для него первым настоящим горем, заставляя осознать жестокость эксперимента и собственную смертельную уязвимость. Автор не теряет ни одного персонажа: все герои всегда остаются с читателем, что обеспечивает целостность восприятия.

Сюжетные линии – это не только изменение уровня IQ, но и линия одиночества, линия любви, линия научной этики. В романе четыре нити переплетаются в тугой узел: восхождение и падение интеллекта Чарли, его одиночество (он чужой и среди умных, и среди отсталых), обречённая из-за стремительной деградации любовь к Алисе и научная этика.

Замысел Киза, который он вполне успешно осуществил – показать, что нравственные качества личности важнее любых достижений. Интеллект без доброты и искренних чувств оказывается недостаточным условием полноценной жизни. Этот урок важен не только для науки, но и для всего общества.

Роман предназначен не только любителям фантастики. Он скорее похож на философскую притчу. Это книга для всех, кто когда-либо чувствовал себя одиноким, непонятым, «другим». После прочтения читатель начинает иначе смотреть на людей с особенностями развития: на стариков, на тех, кто «не такой».

В финале романа, когда буквы снова начинают плыть перед глазами, а сложные мысли ускользают, Чарли Гордон оставляет одну короткую, но очень страшную фразу. В ней нет ни капли жалости к себе, только обезоруживающая честность: *«Если Вы читаете это не жалейте меня. Не хочу чтоб меня жалели. Я рат што у меня был второй шанс и я был умным и кое што повидал»*.

Прочитайте эти предложения еще раз.

Человек, который только что потерял всё, благодарит судьбу. В этот момент понимаешь: книга никогда не была про научный эксперимент, гениальность или подопытную мышь. Произведение о том, что в погоне за гениальностью мы часто теряем самих себя.

Каково это – всё понимать, но быть уже не в силах что-то изменить? Если вы хотите узнать, – открывайте «Цветы для Элджернона».

«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества» (М. Горький «Фома Гордеев»)

Сапожки, которые смеются

*«Ничего. Хорошо».
В. М. Шукшин, «Сапожки»*

«Половина мотороллера. Половина мотороллера». Эта навязчивая мысль не даёт покоя Сергею Духанину: герою рассказа Шукшина «Сапожки». Что общего у деревенского шофёра и Леопольда Блума, гуляющего по Дублину? Трудно представить эту связь, но, вчитываясь, становится ясно: один день из жизни Сергея Духанина вмещает не меньше, чем целый роман Джойса.

К 1970 году Шукшин был уже известным писателем, актёром и режиссёром. На протяжении всего его творческого пути сохранялась связь с алтайским селом Сростки, где он провёл детство. Сюжет рассказа «Сапожки» был подсказан жизнью: Шукшин часто черпал идеи для своих «характеров» из деревенского быта, из случайно подслушанных разговоров или собственных наблюдений за тем, как простые люди совершают нелогичные, но искренние поступки. Знание среды позволяет убедительно изображать повседневность и психологию людей с помощью житейских деталей и речевой характеристики героев. Именно поэтому «Сапожки» можно отнести к жанру рассказ-характер (цикл «Характеры»), где главное — не события, а внутренний мир героя, его выбор. Рассказ вписывается в традицию деревенской прозы второй половины XX века, которой свойственно внимание к высоким нравственным качествам в повседневности.

Пространство организовано вокруг привычных для Сергея мест. Работа и улица — фон обыденности, а магазин и дом становятся пространствами развития конфликта и его разрешения. В магазине сапожки впервые сталкиваются с внешним миром (продавщица, рабочие), дома — переходят во внутренний. Перемещающаяся обувь становится деталью, которая соединяет пространства. Когда сапожки попадают внутрь, они становятся словно живыми («При электрическом свете они были ещё красивее. Они прямо смеялись в коробке»), передавая эмоции героев. Уменьшительно-ласкательные формы («сапожки», «пипеточки») усиливают эмоциональную окраску и перемещая предмет из обыденного мира в духовный. Временные рамки охватывают небольшой период — всего один день, однако он значительно выделяется и приобретает значимость для героя.

Обращение к одному дню как к основе повествования позволяет сопоставить «Сапожки» Шукшина с романом Джеймса Джойса «Улисс». Несмотря на различие жанров и художественных масштабов, оба произведения отражают, как ограниченный временной отрезок может вместить широкую картину человеческой жизни. У Джойса повседневность Дублина раскрывается через события, впечатления и воспоминания о прошлом. У Шукшина один день становится пространством внутреннего изменения человека. Но, если Джойс акцентирует внимание на размышлениях Блума о внешнем мире (политика, религия, искусство), то у Шукшина всё сосредоточено внутри человека.

Окружение Духанина противопоставлено герою, люди описаны лишь внешне. Их речь и поведение подчёркнуто снижены: «Ты что, офонарел?», «швырнула», «полез грязной лапой в белоснежную, нежную... внутрь сапожка». Грубые глаголы, разговорная лексика, отсутствие рефлексии — всё это создаёт облик,

при котором важнее всего практическая сторона жизни. Реакция окружающих на покупку обозначает главный конфликт рассказа. Показательно, что даже продавщица, казалось бы, заинтересованная в продаже, не одобряет выбор Сергея. На этом фоне выразительность доказывает факт: обыкновенная вещь может вызывать неожиданные чувства. Образ Сергея идеализирован: его вспыльчивость и зависимость от чужого мнения лишь намечены и не развиваются, а почти полное отсутствие отрицательных черт делает конфликт однозначным.

Желание Сергея купить жене дорогие сапожки вырастает из ощущения однообразия и упущенного времени. В его сознании покупка соединяется с мыслью о единственном шансе: «Может, и не будет больше такой возможности. Дочери ещё не невесты — чего-ничего, а надеть можно — износят. А тут — один раз в жизни...» Эта фраза важна не как мотив поступка, а как момент прозрения: герой осознаёт, что жизнь мчится, а праздника в ней так и не случилось.

Непрактичность покупки сапожек вместе с мотивом самоотдачи напоминает новеллу «Дары волхвов». У О. Генри жертва взаимна и симметрична. Поступки героев оказываются «бесполезными» с практической точки зрения, но именно эта бесполезность и раскрывает силу любви. Покупка Сергея, с бытовой точки зрения, выглядит неоправданной — как и дары героев новеллы. Но если у О. Генри это трагикомическая ирония, то у Шукшина — парадокс.

Внутренний конфликт достигает наивысшей точки в момент сомнений. «Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало». Этот разлад — не слабость, а точка роста: герой впервые позволяет себе поступок, не оправданный практическим расчётом. Но постепенно ожидаемая радость жены оказывается важнее денег: при виде покупки у Клавдии появляются слёзы умиления, она ласково обращается к мужу. Именно в этом отказе от привычной логики и рождается гармония, которую Шукшин называет «хорошо».

Финал рассказа можно рассматривать как неоднозначный. Что скрывается за сухим, почти смиренным «Ничего. Хорошо»? В парадоксе кроется главная шукшинская мысль: гармония приходит через риск и способность к самоотдаче. Цена, которую платит Сергей, не измеряется в деньгах, а в умении выйти из зоны комфорта.

Этот рассказ стоит прочитать тем, кто соскучился по психологической глубине: городским жителям, которые хотят ближе познакомиться с деревенским колоритом, и тем, кто готов понять, как внешнее порождает внутреннее. Если вы готовы простить герою некоторую идеализированность, вы обнаружите трогательную притчу о цене счастья. Это не рассказ о покупке, а о том, как один поступок может изменить жизнь.



«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас» (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»)

Проводник

Вы когда-нибудь задумывались о предопределённости судьбы? Многие считают, что выбор зависит только от них. Громкие слова: «Я — человек» — делают более решительным, но обрубают в случае проигрыша. Среди людей ходит поверье: что ни делается, всё к лучшему. Нельзя забывать, что каждый во что-то верит, будь то семья, бог или любимый человек, который поддержит и поможет. У Петрушевской такой опорой становятся ангел-хранитель и бес.

Людмила Стефановна Петрушевская, хотя и родилась в советское время, до сих пор публикуется. Пишет о жестокости, перефразируя её в разнообразные жанры. Проблемы, которые она поднимает, — вечны: гиперопека, невысказанные обиды, эгоизм близких. «Котёнок Господа Бога» отличается по жанру: в нём нет прямой жестокости, которая присуща историям Петрушевской. В 2012 году он стал заглавным рассказом в сборнике «Котёнок Господа Бога. Рождественские истории». Петрушевская включила в истории мотив святочных рассказов. «Котёнок Господа Бога» стал заглавным, потому что включённые тексты — о хрупкости жизни, загнанных людях и детях. Котёнок выступает метафорой незащитной души, которую ведёт Господь. Мотив чуда также прослеживается в сборнике.

С историей, описанной в рассказе, встречался почти каждый: мальчик приехал в деревню навестить бабушку. Содержание контрастирует с названием, которое кажется более высоким. Начало похоже на сказовый зачин: «Одна бабушка в деревне заболела, заскучала и собралась на тот свет». Даже на этом уровне название не соответствует действиям. Они идут последовательно и кажутся обыденными, создавая эффект не ироничный, а именно сказочный, на что указывает и манера повествования: «Сын её всё не приезжал, на письмо не ответил, вот бабушка и приготовилась помирать...» В рассказе смешаны высокие темы о божественном и история о мальчишке, который залез в чужой дом. Ирония присутствует на всех уровнях текста, заставляя нас улыбаться.

Если посмотреть на лексику, можно увидеть, что в некоторых моментах она не соотносится с действиями. Так, фразы: «бабушка функционировала», «выгнанный внук» — в контексте рассказа кажутся смешными, хотя в реальности несут более негативный смысл. Создаётся впечатление, что бабушка превратилась в робота, а мальчик в действительности не нужен ни ей, ни маме.

Котёнок появился в жизни главного героя случайно, просто подошёл на улице. Он становится главным объектом рассказа — волшебный помощник из фольклора. Именно благодаря ему бабушке, собравшейся умирать, становится лучше. На этот образ можно посмотреть по-разному. С одной стороны, котёнок, посланный богом, олицетворяет рождественский мотив чуда. Только после того, как он прыгнул к бабушке в ноги, семья мальчика приехала. С другой стороны, котёнка можно рассматривать как проводника, без которого собравшейся умирающей героине не могло стать лучше. Его описание подаётся с помощью ангела и построено на первом впечатлении: «...как можно будет кормить котёночка, спать с ним, играть».

В большей части произведений литературы котёнка не наделяют даром от Бога, вместо него выступают птицы и овечки: «Книга Бытия», «Охота на овец» Харуки Мураками, «Ягнёнок» Уильяма Блейка. Петрушевская меняет стереотипное мнение,

акцентируя внимание читателя на том, что о факте знают все: «...всем известно, что котёнка снарядил на белый свет сам Господь...»

За спиной мальчика стоят ангел и бес; деление на их мнения появляется ближе к середине рассказа, показывая: изначально человек думает, что его судьбой никто не управляет. Чёрт оживляет сюжет своими действиями, он подначивает на совершение злых поступков в адрес животного. В некоторых моментах бес будто превращается в самого котёнка — «ушмыгнул сквозь плетень», — заставляя читателя сомневаться в его предназначении. Может быть, животное послано не ангелом, раз именно из-за него мальчик забирается в чужой дом?

Финал рассказа тоже делится на две стороны — положительную и отрицательную. Может казаться, что композиция «рассказ в рассказе», но сюжеты переплетаются, расходясь в конце. Текст начинается с предыстории о бабушке, хотя она не является главной героиней. Котёнок стал связующим звеном для жизней разных людей. Важно помнить, что Бог в рассказе как раз является тем, кто стоит над всем и связывает судьбы в нужный момент. Каждому нужно найти своего котёнка, который был послан «Господом Богом». А у вас есть проводник по жизни?

«Где ж лучше? - Где нас нет» (А. Грибоедов «Горе от ума»)

«Какого дьявола затемняться, когда весь город горит»

Гимназия превратилась в госпиталь, а ученики – в пациентов.

Рассказ Генриха Бёлля «Путник, придёшь когда в Спа...» – монолог от лица мальчишки, попавшего во время Второй мировой войны во временный госпиталь, устроенный в гимназии. Юный солдат ранен, но не мёртв. Его несут наверх: в рисовальный зал школы. Герою всё кажется знакомым: и картины на стенах, и бюсты в коридорах, и... но ему думается, что наверняка есть особые «правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии...». Определённость приходит только тогда, когда он оказывается на операционном столе.

Нестабильность – доминирующее ощущение в рассказе: в пространстве и времени путается и герой, и читатель. «Конечно, всё могло мне только почудиться», – само существование пространства школы, рисовальный зал, в которой несут героя, подвергается сомнению. Рассказчик и сам не уверен, что всё происходящее – реальность: «А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред». Когда же он погружается в воспоминания об учёбе, невозможно определить, об этой ли вообще гимназии идёт речь, ведь интерьер узнаваем только визуально, бессознательно.

В бреду мысли героя перескакивают с одного события на другое. То он вспоминает уроки в рисовальном зале (в том ли, в котором он сейчас находится?), то сразу же пытается выудить из памяти обстоятельства своего ранения. Стоит герою углубиться в описание картины, стоит только «перенести» читателя в её пространство, как рассказчик тут же возвращает его в реальность: «На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом... желтела большая, в натуральную величину, связка бананов... Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал». Время словно раздваивается: одно – картинное, другое – настоящее, действительное (которое, однако, передаётся бредящим человеком).

Рассказчик – ещё совсем юный солдат, который уже успел столкнуться с реальными сражениями. Кажется, из-за этого он должен был рано повзрослеть. Но ничего не случилось. «Всё это так солидно, совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками...» – таково отношение к боевым действиям: он ещё совсем-совсем ребёнок.

Название в этом смысле символичко. «Путник, придёшь когда в Спа...» – часть эпитафии поэта Симонида Кеосского спартанцам, погибшим в Фермопильском сражении. В классических гимназиях Германии эту строчку повторяли в качестве символа героической смерти за отечество. Важно, что в названии эпитафия дана не полностью, цитата сокращена. Значит ли, что и жизнь героя оборвётся? Если это так, смерть этого юного солдата на операционном столе школы будет вовсе не героической, более того – бессмысленной.

Рассказ имеет ограничение: прочтение разрешается по достижении шестнадцати лет. Пальба



артиллерии, ужасные условия госпиталя, ранения – всего этого не должно быть в жизни ребёнка даже на страницах книги. Но вот парадокс: герой либо только-только окончил школу, либо его просто вырвали с занятий на фронт. Причём его сознание уже изуродовано войной: «О боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был её густой и низкий рокот... по-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет».

Мастерство Генриха Бёлля – в умении создать подвешенное, неустойчивое состояние во время прочтения, гнетущее ощущение крайней неправильности происходящего. Время и пространство лишены конкретности, герой бредит – и оттого кажется, что может произойти всё, что угодно. Даже сам по себе рассказ оказывается невозможным, как бы несуществующим (хотя мы и читаем его): ведь герой может и не пережить ранений. Читателю может даже почудиться: а не в бреду ли он сам?

«Если хочешь победить весь мир, победи себя» (Ф. Достоевский «Бесы»)

Цена одного дня: о рассказе Рэя Брэдбери

Рэю Брэдбери чуждо многословие. Каждое его предложение выверено, каждая деталь подчёркивает важность момента. В рассказе «Всё лето в один день» эта краткость помогает автору сосредоточить наше внимание не на фантастическом фоне, а на чувствах и поступках героев.

По своей литературной природе это не просто научно-фантастический очерк, а глубокая социально-психологическая драма, тяготеющая к форме философской притчи. Научная условность служит здесь лишь тонким покровом: перенося действие в космические дали, автор вовсе не стремится поразить нас чудесами техники — он использует инопланетный антураж как увеличительное стекло, сквозь которое становится ясна природа коллективной жестокости. Мы видим это в сцене травли главной героини Марго. Одноклассники, ослеплённые завистью к её воспоминаниям о Земле, закрывают девочку в шкафу именно в тот момент, когда должно взойти солнце. Благодаря символической насыщенности конфликта, где сталкиваются детская беззащитность и жестокость толпы, текст Брэдбери обретает притчевый масштаб.

Главная художественная сила рассказа заключается в его эмоциональном воздействии на читателя, достигнутом средствами лаконизма. Например, сравнение солнца с «большим медным медяком» или описание внезапной тишины, когда дождь стихает «словно в кинофильме выключили звук», помогают читателю физически ощутить перемену в мире героев. Художественное пространство рассказа держится на грандиозной антитезе: бесконечный, давящий дождь противопоставлен ослепительной вспышке солнечного света. При этом природные стихии у Брэдбери — не бездушные декорации, а полноправные действующие лица: сырость кажется адом, а солнце предстаёт воплощением утраченного рая.

Основное действие охватывает лишь пару часов ожидания перед редким двухчасовым появлением солнца, которого на промокшей от непрерывных ливней Венере ждут целых семь лет. Девятилетним школьникам было всего по два года, когда светило выходило в прошлый раз, поэтому они не хранят о нём собственных воспоминаний. В этот узкий временной промежуток вторгается прошлое — через память Марго, которая прилетела с Земли всего пять лет назад и единственная в классе помнит живое тепло и золотой диск, похожий «на огонь в очаге». Подземный город на Венере с его глухими тоннелями, искусственным светом и тесным школьным классом становится выразительной метафорой отчуждения. Это пространство — полная противоположность Земле, которую помнит Марго: там мир был открытым и тёплым, а здесь он сузился до тесных коридоров и школьного кабинета. Это герметичное пространство, где за стенами круглые сутки гудят и шумят миллионы падающих капель, формирует психологию целого поколения, запертого в подземелье. Лишь на два часа дети вырываются наружу, в гигантские инопланетные джунгли, расцветающие под бронзовым светом, но именно в этот момент главная героиня



оказывается запертой одноклассниками, лишаясь шанса увидеть солнце.

В эту суровую сферу автор помещает своих героев — детей, чья психология всегда устроена иначе, чем у взрослых. Ребёнок видит мир предметно и часто не способен поставить себя на место другого, поэтому любая непохожесть инстинктивно пугает коллектив и вызывает отторжение. Среди них особенно одинокой выглядит Марго. Девочка, помнящая Землю и чистое сияние дня, оказывается чужой среди сверстников. Её незащищённость, задумчивость и поэтическая память вызывают у окружающих не сочувствие, а глухую неприязнь и жгучую зависть. Остальные дети показаны вовсе не воплощением зла, а невольными жертвами мрачной среды и собственного возраста. Их агрессия рождается из тёмного инстинкта толпы, не умеющей принять чужое различие. Писатель не спешит огульно клеймить детей, но и не снимает с них вины, показывая, как легко из мелкой зависти вырастает страшная коллективная несправедливость и как мучительно тяжело искупается совершённое зло.

Сюжетные линии развиваются последовательно: всеобщее, предельно напряжённое ожидание небесного чуда сталкивается с линией отчуждения Марго, когда дети в исступлении запирают девочку в тёмном чулане. Автор сознательно выстраивает действие так, что солнце всходит именно тогда, когда героиня заперта и не может его увидеть. Счастье оказывается украдено у той единственной, для кого оно было смыслом жизни.

В тексте есть своя уязвимость... Перед нами предстаёт не галерея индивидуализированных, тонко прописанных детских характеров со своими сложными судьбами и мотивами, но единый, почти монолитный коллективный образ — безликая стихия сверстников, движимая общим порывом. Подобное обобщение есть сознательный эстетический выбор писателя: в рамках малой формы и жанра философской притчи автору необходимо было показать сам слепой механизм массовой зависти и групповой нетерпимости, а не дробную психологию отдельных участников травли. Тем не менее читатель, привыкший к живым и сложным характерам из классических романов, может заметить некоторую простоту второстепенных героев. Точно так же и финал — с внезапным и тяжёлым раскаянием детей — кажется слишком поучительным. Но эта прямота не портит рассказ, потому что перед нами не бытовая зарисовка, а притча, которой нужна предельная ясность морали.

В силу этой универсальности замысла рассказ «Всё лето в один день» оказывается творением, адресованным в равной мере и чуткому детскому сердцу, и зрелому разуму взрослого читателя. Подросткам эта история помогает увидеть со стороны последствия жестоких поступков и учит замечать чужую незащищённость. Взрослым же рассказ напоминает о том, как легко нехватка тепла и замкнутая среда порождают травлю и почему важно вовремя обратить внимание на отвергнутого ребёнка. Рассказ не убаюкивает читателя занимательным повествованием, он будит в нём обострённое чувство личной ответственности, воспитывая способность к деятельному, зрячему состраданию.

«Всё лето в один день» — пронзительная история о том, как легко отнять у человека надежду и как трудно потом искупить вину и вернуть доверие. Сила рассказа не во внешних эффектах сюжета, а в умении автора растревожить совесть. Рэй Брэдбери добивается этого без нравоучений: с поразительной чуткостью он вслушивается в человеческое сердце и через простые, живые образы напоминает, как важно вовремя заметить чужую боль и сохранить ценность человеческой души.



Арина Павлова, 17, Рыбинск

«В том, что ничто в жизни действительно не повторялось, была одна из причин глубокой привлекательности существования» (К. Паустовский «Повесть о жизни»)

Годы неправды

*Мы идём на дно назло, хоть и умеем плавать.
Безнадёга прошла здесь, словно пламя напалма.
Баста (наст. имя Василий Вакуленко)*

Представьте: за окном ворона сидит на электрическом проводе. Что вы чувствуете? О чём думаете? В воображении героя рассказа Веры Резник «Патефон» воронье крыло сравнивается с пластинкой, на которой записан звук для семейного субботнего застолья. Главный герой беден и одинок. Он живёт воспоминаниями о весёлой семейной жизни, однако память постепенно замещает или вовсе стирает события. Но всегда ли так было?

Люди, рождённые в XX веке, помнят традицию застолий, когда собиралась вся родня: пели песни, читали стихи, делились новостями и переживаниями. Резник погружает нас в атмосферу позднего СССР через осязаемые детали быта: патефон, хрустальные рюмки, оливье, селедку под шубой, шпроты, кузнецовский фарфор. Рассказ актуален и сегодня: среди молодёжи «модно» ностальгировать по Советскому Союзу, в котором она никогда не жила, а старшее поколение узнаёт в тексте собственный опыт.

Семья героя – научная интеллигенция – собирается по субботам. Форма этих застолий знакома поколению X: поиск дефицитных продуктов, трепетное нарезание салатов под душевные разговоры. Но содержание вечеров семьи из рассказа иное. Герои тоже читают стихи, однако для них это лишь подводка к «явствам и однообразным изобильным напиткам накрытого стола», «пространным высказываниям, коротким возгласам и звону сталкивающихся в воздухе рюмок». Жизни друг друга их не интересует, общественные проблемы не обсуждаются. Все пьют, чтобы забыться и поймать ощущение веселья.

Персонажи безымянны – они обозначены только родственными связями. Отец – «вождь» семейства – привык включать патефон на встречах и уходить пить в кабак, где о его заслугах и орденах ничего не знают и не завидуют его достижениям. Один из родственников говорит прямо: «Зависть – их родовая черта...». Мать не заботилась пороки мужа, ведь социальный статус для неё важнее чувств. Жена главного героя не любит супруга и, не выдержав измен, уходит от него, даже не сообщив ему о своих планах.

Двигаясь по тексту, мы выходим к архетипической оппозиции «дом – антидом» по Ю. М. Лотману. В этой системе антидом – чужое, разрушающее пространство, место смерти: в нём не живут, а исчезают. Оно несовместимо с покоем и любовью. Именно антидом разрушает героя изнутри и приводит к полной деградации личности.

Всё это – прошлое. А что в настоящем? Бывший ведущий конструктор лежит в грязной квартире, где в холодильнике осталась лишь бутылка кефира. «Прислуги в доме не держали», а значит, уборкой человек «высшего общества» не занимался, отсюда и общая захламленность квартиры.

Главный герой – носитель памяти ушедшей эпохи, такой же механизм, как патефон, который обязательно заводят в начале субботнего вечера, чтобы соблюсти ритуал: запись на пластинке «слово предоставляется», овации, речи вождя, всеобщее пьянство. Пытаясь удержать время веселья, герой цитирует Гёте: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». Ритуал повторяется снова и снова, пока один из героев, историк революции, не осознаёт: не стоит тратить столько времени на речи вождя. Он трезвеет, перестаёт интересоваться поэзией Серебряного века и разрывает отношения с семьёй. Главному герою этот жест непонятен – его всё больше увлекает ритуальность встреч.

Резник акцентирует внимание на пространстве: оно замкнуто по вертикали (девятый этаж, лестница, высокие потолки) и по горизонтали (стол, диван). Кухня – «личная ниша» жены, где она курит у окна; кабинет отца с прохудившимся диваном, пружина которого ранит сына и становится символом нанесённой боли. Ограниченность обеих осей символизирует тотальную замкнутость существования, из которого нет выхода.

Ключевой образ рассказа, несущий разрушение памяти, – звук патефона. С каждым новым витком события стираются, превращаясь в шум. Кризис наступает, когда ворона в окне исчезает и на проводе оказывается сорока. Герой, которого в школе дразнили орнитологом, не узнаёт птицу. Происходит подмена смыслов: ворона – смерть, сорока – суeta, шум. Кончина отца для героя становится смешным воспоминанием, а не трагичным. Традиция советских застолий, шумных и избыточных, оказывается подменой подлинной близости: герои не помогают друг другу пережить утрату главы семейства.

Ритуал застолий постепенно прерывается и сменяется чередой похорон родных. Герой ищет утешение в алкоголе. Моральный распад влечёт за собой физический: раздражённый упрёками матери в пьянстве, он толкает её, что приводит к инсульту и гибели женщины. При этом в мыслях он лишь цинично упрекает родителей в нехватке денег и ненужности их образования, завидует успешности покойного отца. Со временем у него пропадает память: он не помнит уже не то что писателей, чьи стихи знал наизусть, а даже недавний диалог с двоюродной сестрой. Оказавшись в абсолютном одиночестве с выжженной алкоголем памятью, он из последних сил карабкается по лестнице на девятый этаж, пытаясь хоть как-то «проветрить» разум. Здесь перед ним вновь предстаёт «неизбывная и вечная сорока-ворона», но он её уже не замечает. Герой понимает, что не осталось никого и ничего, а в ушах стоит лишь фантомный гул чужих оваций.

Текст стилистически плотен, порой избыточен. Длинные предложения, перегруженные причастными оборотами: «Уму и слуху снова явился навязчивый образ медленно вращающейся чёрной, как воронье крыло, шуршащей под звукозаписывающим устройством, посаженной на тяжёлый диск пластинки», – с одной стороны, характеризуют эпоху и затуманенный разум человека, с другой – лишают повествование энергичности. Композиция, собранная по принципу фрагментарной памяти, порой работает против замысла автора.

Мария Мартынова, 16, Курск

«За звёзды, умеющие слушать, и за мечты, которые сбываются» (С. Маас «Королевство гнева и тумана»)

Больше, чем история болезни

«Виноваты звезды» не первый и далеко не последний современный любовный роман на полках книжных магазинов. Это история взаимоотношений подростков, которые знакомятся в группе поддержки для людей с онкологией и меньше всего на свете хотят, чтобы их жалели. Они иронизируют над своей болезнью, шутят и живут ярче многих здоровых людей. Не стоит ждать унылой трагедии – вы удивитесь, насколько в этой книге много черного юмора и неприторной романтики. Написав этот роман, Джон Грин хотел помочь подросткам научиться преодолевать трудности на примере героев истории.

Хейзел Грейс Ланкастер всего шестнадцать и у нее рак щитовидной железы с метастазами в легких. На протяжении всего романа она – эмоциональный громоотвод. Но по иронии в ее рассказах о своих тяготах становится ясно, Хейзел боится. «Я граната, в какой-то момент я взорвусь, поэтому хочу заранее минимизировать случайные жертвы», – говорит она. И ведь получается, что ее страх – не смерть, а боль, которую она причинит другим. Не только родителям, но и парню, которого Хейзел встретила в группе поддержки.

Однако Хейзел становится и голосом автора, который проживает ситуацию вместе с ней. Ее умозаключения и внутренние диалоги выдают в ней не подростка, а глубокого, утомлённого жизненным опытом человека. Хотя странно было бы ожидать от нее подростковой речи. Она много читает, думает о вещах, о которых многие предпочли бы забыть, в конце концов болезнь с ней уже не первый год.

Композиция не зря построена как дневниковое повествование от первого лица. Грейс делится с нами своими чувствами и мыслями, неудачами и успехами. В данном случае задумка автора полностью оправдана, ему удалось передать состояние девочки-подростка, что вызывает доверие.

Огастусу Уотерсу семнадцать, но он уже потерял ногу из-за остеосаркомы. Тем не менее герой боится не смерти, а забвения. Его самое главное желание – прожить жизнь так, чтобы она что-то значила, оставив после себя след. Как раз эта разница в мироощущении и жизненной цели персонажей создает напряжение в их отношениях. Они ссорятся, ревнуют, говорят друг другу колкости, но



тут-то Грин и показывает, что любовь не делает людей святыми – они остаются обычными подростками со своими слабостями.

Особое место в рассказе занимает «Царский недуг» - выдуманная книга Питера ван Хаутена (вымышленный писатель, второстепенный персонаж), которая становится для Грейс «второй Библией». Для Хейзел эта книга – не просто чтение, а зеркало её собственной жизни. Она одержима тем, что случилось с героями после финала, на самом деле задаваясь вопросами: «Продолжится ли время для моих родителей, когда меня не станет? Не остановится ли их мир?» Жаль только, что ответа девушка не находит, напоминая не только самой себе, но и читателю: искусство не обязано утешать, а взрослые не всегда знают больше, чем подростки.

Увлеченность Хейзел «Царским недугом» – это скрытая форма её страха перед будущим, которое наступит после её смерти. Ведь они с Огастусом живут в условиях «сжатого» времени. У них нет возможности строить планы на университет, карьеру или старость. Обычное линейное время для них разрушено.

Именно этот «роман в романе» сближает Хейзел и Огастуса. За «Маленькую вечность» они предстают друг перед другом в самые тяжелые моменты: подключенными к аппаратам, слабыми, испытывающими сильную боль. Стационар превращается в безопасное пространство, где они могут разделять свои самые потаенные страхи, говорить о смерти и жизни. В то время как их сверстники ходят в школу, на вечеринки и строят планы на будущее, единственный мир, который им доступен – стерильная палата.

Роман «Виноваты звезды» Джона Грина прямо цитирует и одновременно переосмысливает знаменитую реплику из трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» (Акт 1, сцена 2), «Не звёзды, милый Брут, а мы сами виноваты в том, что погрязли в рабстве». У Шекспира проблемы человека – это результат его собственного выбора. Но что делать, если тебе шестнадцать, и на твою долю выпало испытание, в котором точно нет твоей вины? В романе Грина главные герои смертельно больны раком. Джон не согласен с Шекспиром и хочет показать, что дети не виноваты в том, что так сложилась их судьба – “The fault in our stars”, то есть “Вина в наших звездах”. Рак не был следствием их дурных поступков, слабости характера или неправильного выбора. Ребятам так или иначе придется научиться жить с этой болезнью.

Кажется, в книге опровергается следующая мысль: нужно обязательно стать великим или оставить грандиозный след. Сквозь хрупкие судьбы героев Грин напоминает: нам не нужно затмевать мир галактическим сиянием, чтобы наша жизнь обрела смысл. Истинное величие рождается не в холодном блеске славы, а в той маленькой, но бесконечной вселенной, которую мы успеваем разделить с любимыми. И пусть наши звёзды «виноваты» и безжалостны – их свет становится благословением, когда он согревает тех, кто нам по-настоящему дорог.

ДВА

СЛОВА

И

ГОТОВО

Вероника Авилкина, 17 лет, Брянск

Маска

Голубоглазая девочка с овсяно-яблочными волосами, ногами с желтоватыми синяками, в сиреневых шортах и выцветшей футболке со стёртым котёнком. Радужные шнурки на кроссовках. Растянутые резинки со стеклянными яблочками. Она замечает всё: подъездной тенью преследует то бабочку-капустницу с точками на краях крыльев, то появляющиеся следы от окурков на руках у пухлого, как булочный мякиш, третьеклассника...

Беззвучный мысленный щелчок. Девочка отбегает под ивы. Прикрывая ладонью, просматривает кадры. Цветик-семицветик смеха, к арбузовому блеску для губ липнет прядка.

Искренне-небесное фото. Пусть оно пока и не шире Вселенной.

Екатерина Кирсанова, 17 лет, Ростов-на-Дону

Комментарий к девизу

Меня зовут Екатерина Кирсанова, я из Ростовской области, учусь в 11 классе. Если коротко – я собираю шаги. Маленькие, ежедневные, те, что однажды выстраиваются в дорогу.

Литература вошла в мою жизнь раньше, чем я это осознала. Я читала взахлёб, а энциклопедии могли удержать меня на целый вечер: перескакивала от статьи к статье и чувствовала, как мир становится больше. Помню встречи с писателями – живые разговоры, вопросы из зала: за книгой вдруг оказывался человек, и с ним можно было говорить. Ещё я коллекционер. Особенно любила журнал «Камни и минералы»: к каждому номеру прилагался камень, о котором шла речь. Я собрала всю коллекцию, а потом начала просить родственников привозить экземпляры из поездок – она пополняется до сих пор. Рядом с камнями теперь стоят виниловые пластинки. Прекрасный вечер для меня – чашка горячего какао, интересная книга и тихая музыка на фоне.

Рядом шли музыка и сцена. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, пою в региональном хоре «Первые», побеждала в вокальных конкурсах. Сцена научила дыханию и паузе, а пауза иногда говорит громче слов.

Мне близка ответственность общего дела: правительство старшеклассников, школьный совет «Школа первых», «Движение первых», юнармейский медиаотряд, волонтерство и медиацентр «Альтаир» (юнкор, наставник, куратор). Благотворительные ярмарки в фонд поддержки СВО, медиашкола, занятия с младшими – способ быть рядом.

В октябре 2026 года я была в «Сириусе» на литературной смене, где занималась литературной критикой, впервые попробовала редактировать тексты. Для меня это стало точкой поворота: от восторга перед текстом – к пониманию, как он устроен; от желания высказаться – к умению обосновать. Критика для меня – не суд, а способ бережно и честно разговаривать с книгой и читателем.

Мой девиз: «Даже самый маленький шаг сегодня – это начало большого пути». Я делаю такие шаги каждый день. И верю, что слово, сказанное точно, тоже становится шагом – к другому человеку, к смыслу, к себе.



Редакторы художественной прозы: Регина Мубаракшина, Злата Бережная, Елизавета Жерельева

Корректоры художественной прозы: Екатерина Михайлова, Вероника Авилкина

Редакторы рецензий: Софья Шобонова, Екатерина Кирсанова

Корректоры рецензий: Елизавета Диденко, Полина Карпова

Дизайн: Дарья Кулешова, Анастасия Непряхина, Арина Павлова

Верстка: Николай Демчук, Агния Сакулина

Структура альманаха: Георгий Жданов

СММ: Екатерина Кирсанова, Николай Демчук, Полина Смык, Анастасия Непряхина, Софья Шобонова

Моральная поддержка и помощь: Ольга Миронова

*

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ: Альманах участников программы «Литературная критика» направления «проза». Краснодарский край: ОЦ «Сириус», 2026. – 68 с.

Перед вами пространство свободы. Здесь нет места рамкам и запретам. Здесь громко и честно звучат голоса нового поколения. Авторы дарят читателям самые искренние эмоции и верят, что их слова смогут стать толчком для вашего творчества - свободного и летящего высоко в небе, как птица. Откройте книгу и скорее услышьте слово, ищущее своего адресата - вас!

Сдано в набор 21 октября 2026 г.
Подписано к печати 22 октября 2026 г.



